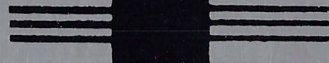


- **ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО** - о Вагнере и Бакуanine
в отрывке из нового романа Нины Воронель
- **ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ** -
новая поэма Михаила Генделева
- **ПАРАДОКС - ОСНОВА ЕВРЕЙСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ** -
в очерках Э. Бормашенко и Бен-Баруха
- **В ИЗРАИЛЕ НЕ ХВАТАЕТ ЕВРЕЙСКИХ МОЗГОВ** -
проф. Л. Штильман обсуждает наши экономические
перспективы
- **ГДЕ РАСПИНАЛИ ХРИСТА?** -
д-р Роза Ляет ставит под сомнение общепринятую
версию события

22

МИШАНЬКИ И
МОСКВА - В КЮМ

№ 111



111



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ

ДВАДЦАТЬ ДВА



111

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА АБСОРБЦИИ
И ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1999

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

| | |
|---|----|
| Нина Воронель. Полет бабочки | 3 |
| Гавриил Левинзон. Сделай сам | 64 |
| Александр Кустарев. Иностранцы | 69 |
| Михаил Генделев. Палата мер и весов | 80 |
| Хамуталь Бар-Йосеф. Больное место | 88 |
| Ирина Юрьева. Восковой вальс | 93 |

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Денис Соболев. О поэзии | 97 |
| Борис Голлер. О пьесах и людях | 113 |

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

| | |
|--|-----|
| Александр Воронель. Политика пришла на «русскую» улицу | 131 |
| Олег Савельзон. «Шок перемен» и культура рационального принятия решений | 134 |
| Леонид Штильман. Еврейские мозги – где их взять? | 149 |
| Бен-Барух. Опыт парадоксального мышления | 157 |

САМОПОЗНАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Эдуард Бормашенко. Парадокс – основа еврейского самосознания | 167 |
|---|-----|

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОГАДКИ

| | |
|--|-----|
| Роза Ляст. Где распинали Иисуса? | 182 |
|--|-----|

ОТКЛИКИ

| | |
|---|-----|
| Марк Холмянский. В защиту писателя | 192 |
| Иосиф Погорельский. «Нас возвышающий обман» | 196 |

КНИГИ И ЛЮДИ

| | |
|--|-----|
| Марат Гринберг. Собранный свет | 201 |
| Виктор Голков. Свидание с нарциссом | 206 |
| Владимир Ханан. Наум Басовский. «Свободный стих» | 209 |
| Михаил Копелиович. Возвращение к прозе | 213 |
| Ян Зарецкий. Очерки традиционной и нетрадиционной истории | 220 |

На первой странице: Рихард Вагнер и Франц Лист

На последней странице обложки: Дом Вагнера в Байройте

(на первом плане – бюст короля Людвига Баварского)

К роману Нины Воронель „Полет бабочки“

ЛИТЕРАТУРА

Нина Воронель

В романе „Ведьма и парашютист“ молодой израильский парашютист-десантник Ури Райх отправляется в туристскую поездку по Европе для лечения боевого шока, полученного в стычке с палестинскими террористами. В аэропорт его провожает мать – молодящаяся красотка Клара. Накануне возвращения домой Ури в поезде ввязывается в драку с группой немецких „бригоголовых“. Выброшенный из поезда на полном ходу, он, больной и покалеченный, попадает в старинный замок, затерянный в дебрях немецкого лесного заповедника. Ури влюбляется в красивую хозяйку замка – Инге – и остается у нее. Но их счастье омрачено зловещей тенью прошлого Инге, которое постепенно проясняется. Ури узнает, что до недавнего времени в замке скрывался бывший любовник Инге, сбежавший из тюрьмы немецкий террорист Гюнтер фон Корф, разыскиваемый полицией всего мира. Он больше года работал в свинарнике у Инге, притворяясь простым работягой по имени Карл, а потом таинственно исчез, оставив в замке все свои вещи.

Увлеченный расследованием, Ури обнаруживает в отдаленном университетском городе почтовый ящик, принадлежавший Карлу, а в ящике – его фальшивый паспорт, давно просроченный авиабилет в Бейрут и красную тетрадь, исписанную таинственным шифром.

Разматывая этот клубок дальше, Ури начинает подозревать, что Карла уже нет в живых. Ури предполагает, что Карл погиб в одном из мрачных подвалов замка, попав в ловушку, в которую его заманил ревнивый отец Инге, инвалид Отто. Выудив у Отто признание, Ури находит в подzemелье скелет Карла и, не желая привлекать к Инге внимание полиции, хоронит его в подземном тайнике. Красную тетрадь он хранит у себя, хотя все его попытки расшифровать то, что там написано, безуспешны.

Во втором томе трилогии, „Полет бабочки“, Ури, оказавшись по заданию Мосада в библиотеке-пансионе в Уэльсе, встречается там энтузиаста, раскрывающего секретный код, с помощью которого зашифрован дневник Карла.

ПОЛЕТ БАБОЧКИ

ОТРЫВКИ ИЗ ТЕТРАДИ КАРЛА, РАСШИФРОВАННЫЕ УРИ

Теперь ничто не мешало Ури подняться в читальный зал, где не было окон, а значит, можно было сесть за стол, спокойно зажечь настольную лампу и расслабиться. Раздобыть бы еще чашечку горячего кофе, чтобы прогнать сон, и наступившее состояние можно было бы назвать блаженством. На миг перед глазами замелькали образы этих насыщенных событиями дней и захотелось поскорей выключить назойливый экран памяти. Но проклятый экран никак не выключался, так что надо было его чем-то заткнуть, ну хотя бы чтением дневника Карла.

Ури снял кроссовки, принес еще один стул, положил на него ноги в носках и погрузился в полный неожиданностей мир, созданный чужой, очень чуждой, фантазией.

«1-й день

Какая тоска! Какая скука!

Вот уже почти три месяца я заточен в этой тесной квартирке в обществе шести непроходимых идиотов. Впрочем, я неправ: двое из них – непроходимые идиотки. Но даже это их не красит. Впервые в жизни я пожалел, что не курю: я просто задыхаюсь от табачного дыма и от вони разбросанных всюду окурков.

Проветрить комнаты невозможно, окна нельзя открывать даже ночью: нас могут увидеть и опознать, ведь наши портреты расклеены на всех столбах. Первые две недели я пытался найти уединенный уголок, чтобы обдумать, кто мог меня предать. Обо мне знали только самые приближенные, и выдал меня кто-то из них, но сколько вариантов я ни просчитывал, я так и не решил, кто именно.

Ни уединиться, ни додуматься не удалось, потому что все остальные пленники нашей берлоги мечутся из угла в угол, как дикие звери в клетке. Их можно понять: они прячутся в тайных убежищах, вроде нашего, гораздо дольше, чем я, и совершенно обалдели от тесноты, безысходности и безделья. Мне уже ясно,

что и мои мозги скоро усохнут, и я стану такой же кретин, как они. Я стал искать способ как-то замедлить этот процесс.

Может, попробовать вести дневник, чтобы дни заточения не сливались в один бесконечный день? На мысль о дневнике меня навела эта красная тетрадь, случайно затесавшаяся среди моих малочисленных пожиток. Но стоило мне набросать несколько строк, как вся скучающая свора повисла у меня за спиной, пытаюсь разглядеть через плечо, что я пишу. Каждое подсмотренное слово вызывало бурный восторг, будто до этой минуты они таких слов и слыхом не слыхали. Терпения у меня хватило на две минуты, после чего я захлопнул тетрадь и отказался от идеи дневника.

Среди ночи я проснулся от шороха и возни у меня под койкой. Какая-то пара сосредоточенно совокуплялась на полу, и койка моя то и дело вздрагивала от ритмичных ударов чьей-то головы. Я не мог разглядеть в темноте, кто это был, но похоже Эрик и Лиззи, – они последние дни сильно терлись вместе. Впрочем, в наших условиях пары создаются и распадаются мимолетно, так что это мог быть и кто-нибудь другой. Я пока уклоняюсь и ни с кем в интимные отношения не вступаю. Однако не надеюсь, что мое воздержание продлится долго. Я уже не говорю, что от скуки человек готов на все, но кроме того нелегко устоять против общественного давления – я всей кожей чувствую, как вокруг меня сгущается недовольство. Они еще молчат, но смотрят на меня с неприязнью и даже с отвращением. Так что, боюсь, мое падение не за горами.

Предполагаемые Эрик и Лиззи со счастливыми стонами закончили свое дело и зашуршали спальными мешками, устраиваясь на ночлег. Они заснули через пару минут, а я остался один в бессонной тьме, остро пахнущей чужими любовными утехами. Тьма была густая и непрозрачная, и на ее фоне я вдруг ясно увидел свое будущее. Оно мне так не понравилось, что я решил сделать все, чтобы его избежать.

Ни в коем случае нельзя отказываться от дневника – он поможет мне дисциплинировать свой ум и хоть как-то ориентироваться во времени. Но как писать под постоянным надзором? Можно, конечно, писать ночью, когда все спят, но ведь кто-нибудь обязательно встанет пописать и меня застукает. Ну, и покатится! Назавтра

мою красную тетрадь выкрадут и подвергнут коллективному обсуждению.

Боюсь, что за последние месяцы нервы мои изрядно сдали, потому что проблема дневника стала вдруг вопросом жизни и смерти. Я воочию увидел, как без этого единственно доступного мне усилия я непременно сойду с ума. И даже начало казаться, что уже схожу. И как часто случается в невыносимой духоте нашей берлоги, я тут же почувствовал, что лоб мой обсыпало обильным потом и под горло подкатила сосущая тошнота.

И вдруг меня осенило: очень просто, надо все зашифровать! Мне когда-то предлагали пользоваться замечательно хитроумным шифром, разработанным одним психом из наших, который оказался в аргентинской тюрьме. Я уже не помню, каким ветром его туда занесло, но он умудрился наладить связь с нашим центром в Гамбурге, и мы в конце концов устроили ему побег. В его шифровке все было гениально просто и неразрешимо, – я ее когда-то знал, но подзабыл. Надо было только сосредоточиться и вспомнить. Что ж, в моем полном безделье всякое умственное усилие можно считать благословением. Я просидел три дня в полной неподвижности, воскрешая в памяти детали этого шифра – и вот пишу! Пока это нелегко, но я уверен, что ежедневная тренировка преодолет все трудности. Не думаю, что кто-нибудь кроме меня сумеет это прочесть!

Еще один день

Вчера ночью была ложная тревога: часа в два, когда все спали, прибежал Курт, который приносит хлеб и молоко. Он открыл дверь своим ключом, чтобы не привлекать внимания соседей звонком или стуком, и, задышавшись, сообщил, что в нашем направлении движется отряд полиции в сопровождении двух бронетранспортеров. Эрик и Конрад запаниковали и объявили, что надо немедленно отсюда смыться и рассосаться по переулкам. Остальные не соглашались и поднялся спор, все стали орать друг на друга шопотом, но сразу замолчали, когда Курт сказал, что ему пора уходить. Как только дверь за ним закрылась, стало очень тихо – нужно было что-то решать.

„Надо погасить свет, может они подумают, что квартира пустая“, – сказала Лиззи, но никто не двинулся с места. Все стояли, сбившись в кучу у окна в каком-то странном оцепенении. Я тоже стоял у окна вместе со всеми и как-то лениво удивлялся, что никто не вспоминает про ручную гранату и два пистолета, спрятанные в стенном шкафу на случай, если за нами придут. Мне бы следовало приказать, чтобы они прекратили панику и приготовились отстреливаться, но меня вдруг охватило вялое безразличие к тому, что с нами будет. Да и стали ли бы ребята выполнять мой приказ?

„Ну что же вы! – взвизгнула Лиззи. – Погасите свет!“

Эрик прикрыл ей рот ладонью, а Людвиг пошел к выключателю, протянул к нему руку и произнес, не гася свет:

– А может, пусть уже нас арестуют? Сил больше нет так жить.

Никто ему не возразил. Все молча смотрели на его пальцы, нерешительно застывшие возле выключателя, и мне кажется, многие в этот момент были согласны, а может быть, даже рады, чтобы нас наконец арестовали.

Тут Лиззи наконец вырвалась из рук Эрика и сама щелкнула выключателем. Кто-то потянул ремень жалюзи, и мы увидели сквозь щели, как строй полицейских промаршировал мимо нашего дома и скрылся за углом. Никаких бронетранспортеров при них не было.

Еще один день

Ночная тревога не прошла даром. Через два дня нас перевели на другую квартиру. Нас перевезли на двух машинах, подкативших к подъезду с интервалом в пять минут в самый час пик. Народу на улице было полно, и никто не обратил на нас внимания. По дороге водитель, незнакомый мне парнишка со швабским акцентом, рассказал, что обе машины были украдены два дня назад, – их спешно перекрасили и сменили номера. Мне было приятно слышать, что придуманный мною механизм смены тайных квартир продолжает работать бесперебойно. Немного, правда, было обидно, что они там, на воле, прекрасно обходятся без меня, но зато утешало сознание, что я так здорово все наладил.

Новая квартира оказалась еще тесней, чем предыдущая, и ее загадили в первый же день. Общая апатия дошла уже до того, что никто не захотел мыть посуду после обеда, ее просто свалили в раковину грязной грудой, на которую каждый, кому ни лень, стряхивал пепел.

Мы начали устраиваться на новом месте. Каждый выбирал себе соседей по вкусу. Поскольку я здесь явно никому не по вкусу, мне повезло и я со своим спальным мешком оказался в одиночестве на кухне. Совру, если скажу, что мне нравится спать, засунув голову под раковину, а ноги – в щель между холодильником и посудной полкой, но зато я могу на ночь закрывать дверь и оставаться один. Конечно, в любую минуту любой из шести идиотов может явиться пить чай или рыться в холодильнике в поисках утешения для истомившегося в неволе желудка, но все же бывают часы, когда никто не нарушает моего одиночества.

Над кухонной дверью я обнаружил неглубокие антресоли, набитые старыми книгами. Я решил, что не стоит рассказывать идиотам о моей находке – их интерес к чтению исчезающе мал. Скорей всего, это не их вина: в скитаниях с одной тайной квартиры на другую они потеряли способность сосредоточиться. Не исключено, что я тоже скоро ее потеряю. Но пока мой интерес еще жив, так что, когда все уgomонились, я взобрался на стул и стал изучать содержимое нежданно подаренной мне библиотеки. В основном она состоит из старого книжного хлама, который можно читать только в одиночном заключении. Но одна книга хорошо читанная и затрепанная, показалась мне любопытной. Это – полудокументальная история жизни русского аристократа из прошлого века, Мишеля Бакунина, который уже сто пятьдесят лет назад понял, что сытое общество бургеров в целом враждебно каждому отдельно взятому сытому бургеру. Мне всегда хотелось узнать подробности жизни этого удивительного человека, – ведь это он сформулировал основные принципы нашей борьбы и теоретически обосновал то, что сегодня называют городской герильей.

У меня создалось впечатление, что он всегда стремился жить на грани гибели и метался по Европе в поисках смерти. Во время революции 1848 года он сражался на баррикадах в Париже, в Праге и в Дрездене и в конце концов добился своего – был приго-

ворен к смертной казни. А с чего бы? Чего ему не хватало? Все у него, вроде, было в порядке – высокий синеглазый красавец из богатой и знатной семьи, любимец женщин, прекрасно образованный. Что гнало его от одной опасности к другой? Меня давно занимал вопрос, какая тайна кроется в его погоне за смертью, но никогда не было времени порыться в его прошлом. Что ж, сейчас времени у меня хоть отбавляй! Могу подумать и о проблемах Мишеля Бакунина. Это все же лучше, чем непродуктивно думать о своих.

Я завернулся в спальный мешок и, предвкушая удовольствие, раскрыл книгу. Видать, кто-то усердно штудировал ее до меня – она вся испещрена пометками, многие строки подчеркнуты. Похоже, хозяева этой квартиры – так называемые интеллигентные люди, среди которых принято сочувствовать нашей борьбе. Что ж, отлично, именно таких я всегда настойчиво рекомендовал вербовать.

Еще один день

Трудно будет потом восстановить, когда что было написано, но невозможно называть день, число и даже месяц. Их трудно различить в бесконечной череде сменяющих друг друга унылых физиологических состояний. Хочется спать – не можешь заснуть из-за общего гама, хочется в сортир – там всегда кто-нибудь сидит, хочется есть – в холодильнике все засохло и зачерствело, хочешь глоток свежего воздуха – о прогулке и думать не смей!

Похоже, когда я продумывал эту, довольно совершенную, систему ухода от слежки, я вовсе не рассчитывал на себя.

Еще один день

Итак, они меня заполучили, черт бы их побрал! Не знаю, зачем я им понадобился – ведь я для них старик, все они моложе меня почти вдвое. О моем высоком положении в организации им наверняка ничего неизвестно, да и не все ли им равно? Однако они зачем-то остро жаждали вовлечь меня в свои игры, а я не поддавался, все сильнее разжигая этим их жажду. Почему я так упи-

рался? Я думаю, дело в том, что они мне просто физически неприятны: они все как на подбор некрасивые и редко моются, причем девки не лучше парней. Мне трудно переносить их дурацкие ссоры, когда они в плохом настроении, но еще хуже, когда они в хорошем, – их бездарные шутки могут кого угодно свести с ума. Мне с ними скучно, я терпеть не могу пустых занятий, задача которых – как-нибудь убить время, хотя, по совести, в условиях заточения – это единственное, что можно со временем сделать.

Что до их эротических забав, то, несмотря на длительное воздержание, мне было легче уклониться, чем присоединиться. Я не чистоплюй, но ведь потом надо будет по-прежнему жить бок о бок с ними в той же грязной берлоге. Я чувствовал, что мне это будет нелегко. Что ж, теперь я смогу проверить, прав я был или неправ.

Это случилось прошлой ночью, когда я наконец закрыл кухонную дверь и погасил свет. У меня последнее время разыгралась изрядная бессонница, и мне не хотелось сразу забираться в спальный мешок. Я чуть-чуть сдвинул ставни и, приотворив окно, выглянул на улицу. Свежий ночной воздух ошеломил меня, и сердце подкатило под горло при виде двух рядов цветущих каштанов, отделяющих наш дом от погруженных в сон домов на другой стороне улицы. Кажется, я бы полжизни отдал за то, чтобы спуститься вниз и пробежаться по узкой полоске асфальта, вьющейся между каштанами, – как будто не я, а кто-то другой сочинил инструкцию для обитателей тайных квартир!

Я давно уже понял, что мне нескоро предстоит пройтись по городской улице, просто бесцельно пройтись, как ходят все нормальные люди, – не опасаясь, что их узнают. Но только сейчас, когда я стоял у окна, волевым усилием подавляя в себе безумное желание пробежаться под каштанами, такими близкими и такими недоступными, я вдруг всем телом ощутил то, что раньше сознавал только разумом.

Это физическое ощущение оказалось настолько болезненным, что я застыл в каком-то смутном ступоре и даже не заметил, как кухонная дверь тихонько отворилась. Я очнулся только когда сильные руки обхватили мои колени и потянули меня вниз. Я покачнулся, пытаюсь сохранить равновесие, но другая пара рук толкнула

меня сбоку, и я упал на сплетение голых тел, копошащихся у моих ног. Хотя я отчаянно старался вырваться из паутины цепких рук, мне это не удалось: меня быстро и ловко раздели донага, бесцеремонно перекатывая по полу, как свернутый в трубку ковер.

– Что вы делаете? – довольно глупо спросил я, не слишком повышая голос, так как вовремя вспомнил о приоткрытом окне. Но даже в моем приглушенном голосе зазвучали непривычно визгливые нотки, – я сам их услышал и испугался, что теряю контроль над собой.

В ответ раздалось дружное хихиканье, и несколько пар жадных ладоней начали шарить по моему телу, щекоча, лаская и раздражая. Я сделал еще одну попытку встать, но кто-то прижал меня под горло волосатым коленом, давая возможность голому женскому животу распластаться на мне с недвусмысленным эротическим намерением. В нос мне шибануло сладковато-селечным запахом давно немытого тела, – последнюю неделю обе наши девицы демонстративно отказывались принимать душ. Когда женский живот начал ритмично елозить по мне вверх и вниз, помогая себе охватившими мою голову твердыми коленками, какая-то стенка во мне рухнула, и я перестал сопротивляться.

Не знаю, сколько времени длился этот всеобщий экстаз, помню только, как меня перекатывали с одного тела на другое, пока я не перестал отличать мужчин от женщин. Ребятишки, конечно, чего-то накурились и были поддатые, однако моя трезвость легко растворилась в их опьянении, и я превратился в такое же счастливое безмозглое животное, как они.

Когда опьянение прошло и мы все наконец устали, я задремал было среди голых тел на полу, но быстро проснулся от того, что меня начало знобить. Оглядевшись, я сообразил, что мы в какой-то момент выкатились из кухни в большую комнату, а я даже этого не заметил. Я сбросил с себя пару чужих конечностей и пошел в душ. Содрогаюсь под сильной струей горячей воды, я старался подавить нарастающее в глубине души отвращение к себе, остро приправленное несказанным облегчением, разлившимся по всей моей физиологической сущности.

„Что, теперь всегда так будет?“ – спрашивал я себя, ясно сознавая, как трудно устоять тому, кто однажды сдался. У меня даже

мелькнула подлая мысль, как хорошо было бы, чтоб нас арестовали, – это на миг показалось мне освобождением. От этой мысли мне тут же стало не по себе. На душе муторно, в теле пусто-пусто. Завалюсь-ка я лучше спать!

Еще один день

Я спал так крепко, как не спал уже много месяцев. Когда я вынырнул наконец из глубин небытия и открыл глаза, я увидел, что кухонный пол расчерчен кривой штриховкой солнечного света, проникающего сквозь щели приотворенных ставень. Значит, я проспал все утро – окно нашей кухни выходит на юго-запад и солнце посещает ее не раньше полудня. За закрытой дверью в салон царила могильная тишина, мои со-что?.. Ума не приложу, как их назвать – собутыльники, но мы ведь не пили, сопостельники, но мы кувыркались на полу. Может, соратники? Мои соратники спали, как убитые, и даже не храпели.

Я был так рад этому неожиданному одиночеству, что не пошел через салон в туалет, а, не испытывая никакой неловкости от своего антиобщественного поступка, воспользовался кухонной раковиной, – только бы их не разбудить! Потом заварил себе стакан крепкого чаю и принялся за книгу о Бакуanine. Я был прав: этот русский романтик уже более ста лет назад четко обозначил основные принципы нашего движения:

„Всецелостное разрушение Государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации посредством народо-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официальной, но безыменной и коллективную диктатурой друзей полнейшего народного освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество...“

„Мы – отъявленные враги всякой официальной власти. Единственная армия – народ. Важнейшая наша цель – создание тайной организации, которая должна быть только штабом этой армии, а не навязывать народу свою мысль, чуждую его инстинктам.“

Ну не про нас ли это?

А вот еще более интересная мысль:

„Этот мир действительно надо морализовать. Как же это сде-

лать? Возбуждая в нем прямо, сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу.“

За дверью началось движение – шорох, топот, смех, сердитая перебранка. Это означает, что там проснулись и моему одиночеству конец.

(через десять минут)

Как только мои полуодетые соратники ворвалась в кухню пить кофе, я взял свое барахло и выскользнул в большую комнату. У меня есть укромный уголок между диваном и журнальным столиком, где мне порой удается ненадолго сбросить оковы коммунального бытия. Пока ребята шумно завтракали, я успел сделать еще несколько выписок:

„Отвергая всякую власть, какую силою будем мы сами руководить народной революцией? Невидимой, никем не признанной коллективной диктатурой нашей организации. Эта тайная организация должна разбросать своих членов мелкими группами, сплоченными единой мыслию, единой целью – организацией полнейшей народной свободы.“

„Кто на своем веку занимался составлением заговоров, тот знает, какие страшные разочарования встречаются на этом пути: вечная несоразмерность между громадностью цели и мизерностью средств, недостаток людей – сто промахов на один порядочный выбор, вечная игра самолюбий, маленьких и больших честолюбий, претензий, недоразумений, сплетен, интриг...“

Как мне все это знакомо!

Из кухни донесся звон разбитого стекла и душераздирающий женский визг. Неужели кто-то из придурков пробил окно собственной башкой? Следовало бы пойти проверить, что они там натворили, но меня охватило какое-то ватное безразличие. Мной владело одно-единственное желание – удрать из этой мрачной ловушки, пожирающей мою волю. Клянусь, я бы так и поступил, если бы не последние остатки здравого смысла, – ведь мои портреты раз-

вешаны на всех столбах и меня бы схватили в первые же полчаса. Уж что-что, но свой немецкий народ я знаю! Так что не бу...

Еще один день с большим перерывом.

Не могу точно сосчитать, сколько дней прошло с последней записи. То ли пять, то ли шесть. За это время много чего произошло, всего не перескажешь. Меня тогда по-хамски прервали на полуслове. Людвиг по-пластунски выполз из кухни, неслышно подкрался ко мне сзади и выхватил дневник. Я вскочил и бросился на него, но он увернулся. Тут в салон с хохотом вломилась остальная братва и стала подначивать нас в надежде на развлечение. Людвиг бросил через мою голову дневник Курту, я подпрыгнул, пытаюсь перехватить его в воздухе, но дневник пролетел под самым потолком, так что даже мой рост не помог. Курт ловко схватил тетрадь и опять через мою голову швырнул ее Эрику. Я сделал было рывок вверх, все радостно загоготали, тогда я волевым усилием затормозил себя на излете, развернулся, поднял с пола свои вещи и, не говоря ни слова, вышел на кухню.

На секунду-другую они застыли в обалдении, молча осознавая мой отказ от их игры, а потом залопотали, загрохотали стульями, заспорили о чем-то и сделали вид, что забыли обо мне. Черт их знает, может, и вправду забыли. Но тетрадь они не вернули.

На кухне был полный разор: в раковине гора грязной посуды, на столе хлебные крошки, огрызки сыра и чашки с недопитым кофе. Так что сесть к столу я не мог. Со спальным мешком мне тоже некуда было приткнуться, потому что пол был усеян лужицами пролитого пива и осколками разбитых пивных кружек.

Мне, конечно, следовало бы немедленно выйти в салон и ледяным тоном приказать им привести кухню в порядок. Но я не был уверен, что они послушаются: мое приобщение к их свальному греху сравняло меня с ними. Я сложил грязные чашки в раковину, все остальное смахнул на пол, сел к столу, и, стараясь не обращать внимания на окружающее меня свинство, опять раскрыл книгу о Бакунии.

Поначалу мне было трудно сосредоточиться – обрывки вчерашнего буйства сплетались перед глазами с моими унижительными

прыжками вслед за пролетающей над головой красной тетрадь. Но постепенно подробности жизни этого фанатика свободы из прошлого века захватили меня. Я ведь почти забыл, что он был приговорен к смертной казни у нас, в Германии, в чужой ему стране. Его, правда, не казнили, а выдали русскому царю, – это было хуже всякой казни, потому что царь его ненавидел. Семь лет его держали в одиночке ужасной подземной тюрьмы, и это, пожалуй, было пострашней смерти. Потом его сослали в Сибирь, но он умудрился убежать из ссылки и удрать из России в Европу. Он поселился в Швейцарии и, хоть после тюрьмы и ссылки был страшно болен, опять взялся за старое.

Я вчитывался в его мысли и узнавал свои. Уже полтора века назад он понял, что наша цивилизация обречена и наш долг – способствовать ее гибели, ибо чем скорее она погибнет, тем лучше. Я перелистнул несколько страниц и увидел старинную карту Дрездена, где прошло мое детство. От знакомых названий улиц в памяти открылась какая-то давно заржавевшая дверца и из нее хлынули воспоминания о тех глупостях, которым меня учили в гэдзэровской школе. Среди них нашлось и кое-что любопытное – наш знаменитый композитор Рихард Вагнер во время революции в Дрездене вел народ на баррикады рука об руку с русским богатырем Мишелем Бакуниным, с которым они были неразлучны. Только счастливое бегство сохранило для Германии этого великого человека, потому что он тоже был приговорен и провел в изгнании шестнадцать лет.

Я просмотрел еще несколько страниц – в противовес тому, чему меня учили, автор книги не столько восхищался революционным пылом Вагнера, сколько удивлялся, зачем ему понадобилось участвовать в восстании, когда он был главным дирижером королевской оперы. В верхней части страницы горделиво красовалось здание этой оперы, весьма роскошно расфуфыренное в модном тогда стиле позднего барокко, и действительно становилось непонятно, зачем из этого здания нужно было бежать на баррикады. Впрочем, лукаво отмечал автор, есть свидетельства, что на баррикадах Вагнера никто никогда не видел, он только ошивался вокруг, не в силах оторвать взгляд от синеглазого русского красавца.

От книги меня отвлек шорох робко отворяемой двери. Она

нерешительно затрепыхалась под давлением чьей-то нетвердой руки и остановилась на полпути. В салоне было тихо, похоже, мои соратники опять накурились травки и заснули, – все, кроме того или той, чье напряженное дыхание доносилось из-за полуоткрытой двери. Я сжалился и сказал:

– Ну ладно, хватит там дышать. Или заходи или закрой дверь.

В щель просунулась кудлатая голова Людвига, отдельные пряди свисали до плеч сальными спиральками пшеничного цвета, – удивительно, почему они все так редко моют головы? Не входя в кухню, он молча шмыгнул носом и затих.

– Ну, чего тебе? – спросил я, начиная раздражаться, но Людвиг продолжал молча смотреть на меня из-под странно темных, может быть, подкрашенных, ресниц. Я вспомнил, что именно он выхватил у меня дневник, и рявкнул:

– Вот что, или говори, или убирайся прочь!

И тут он заплакал. Заплакал беззвучно, я даже не представлял, что мужчина может так плакать – слезы безостановочно текли по его совсем юным, едва тронутым бритвой щекам и обильным дождем орошали его грязную, некогда розовую рубашку. Я не выдержал и, вскочив из-за стола, с силой потряхнул его за плечо:

– Перестань реветь! Чего ты хочешь?

Людвиг покачнулся и, гибко изогнувшись, прижался мокрым подбородком к моему запястью. Я невольно отдернул руку.

– Я вас люблю! – пытаюсь вернуть мою руку на свое плечо, жарко зашептал он. – Я не сплю по ночам и мечтаю о вас. Пустите меня к себе, и я добуду у них вашу тетрадь.

Я попятился и постарался ногой вытолк...»

На этом месте страница кончилась, Ури потянулся за следующей, но там было что-то совершенно несоответствующее:

«...Рихард замечал, что на него все чаще находит угрюмство. Обычно это случалось в дождливую осеннюю пору, когда тягуче ныла все та же точка слева под ложечкой и в голову лезли мысли о смерти. Но иногда тоска наваливалась на него и в светлые дни, полные солнечных зайчиков, зеленого шелеста деревьев и лукавого переплеска струй в фонтане за окном. А когда уж на него

находило, все вокруг затягивалось глухой черной пеленой – и свет, и зелень, и плеск фонтана.

В такие дни все становилось ему противно, даже собственная музыка, равной которой – он знал, был уверен, – не мог создать никто из живущих. И надеялся, верил всей душой, что никто из грядущих вслед тоже не сможет. То, что сделал он, было подобно созданию новой религии: в его музыке пространство превращалось во время.»

Ури с разбегу подумал – что за чушь? Но тут же сообразил, что он, не очень-то надеясь на успех расшифровки, копии с дневника снимал второпях, по нескольку страниц в разных местах. Значит, на предыдущей странице первая порция кончилась, а на этой началась вторая – какая жалость! – на самом интересном месте. А то, что он прочел сейчас, похоже скорее на прозу, чем на дневник. Неужто Карл с тоски начал писать прозу? Почему не стихи – стихи было бы естественней! И кто этот Рихард? Уж не Вагнер ли? Вагнер был Рихард, и его имя упоминалось на последней странице – в связи с Бакуниным и с баррикадами. Ладно, Вагнер так Вагнер, тоже интересно.

«... Он садился за рояль, но пальцы теряли беглость, и черная пелена угрюмства искажала любимые прозрачные звуки, делала их вялыми и пустыми. Тогда он звал Козиму...»

Раз Козиму, значит, точно, о Вагнере, – в ранней юности Ури как-то купил у букиниста потрепанную биографию композитора и прочитал ее от корки до корки. – назло матери, которая требовала, чтобы он немедленно унес из дома «эту мерзость». Теперь он вспомнил, что вторую жену Вагнера, дочь его друга, великого пианиста Франца Листа, звали Козима, – она была на двадцать с чем-то лет моложе мужа и пережила его на полвека, хоть всегда мечтала умереть с ним в один день.

«...Если она не являлась немедленно, он начинал сердито стучать по столу костяшками пальцев и раздраженно кричать: „Козима! Козима!“, потом замечал, как хрипло звучит его голос, пугался и умолкал.

Тут, запыхавшись, прибежала Козима, взъерошенная и несчастная, – она, как всегда, была занята с детьми или по хозяйству, у нее вечно что-нибудь выкипало или кто-нибудь плакал и не хотел принимать лекарство. Но Рихард был неумолим, он говорил: „Пусть себе плачет и выкипает“, и просил ее сыграть ему что-нибудь самое дорогое его сердцу, вроде хора пилигримов из „Тангейзера“. Она со вздохом садилась к роялю и начинала играть. Всегда, когда на него находило, она играла из рук вон плохо, или, может, она играла хорошо, а музыка его никуда не годилась – откуда он взял, что в мире нет ему равных? Впрочем, так оно и было – они не были ему равны, все эти еврейско-итальянские скорописцы, они не были ему равны, они были гораздо лучше.

И тогда вспоминалось все обидное, что с ним случилось за его долгую, полную горечи жизнь – как неотступные венские кредиторы гонялись за ним по всей Европе и как надменно улыбнулся ему Мендельсон, когда „Тангейзера“ освистали в Париже. Но чаще всего из глубин памяти выплывали строки из недавно пересланного ему каким-то доброжелателем письма директора Берлинской оперы: „Вы, я надеюсь, не ослепли настолько, чтобы не заметить провала в Байройте и провала в Лондоне, где публика толпой бежала вон из зала во время исполнения отрывков из Кольца Нибелунгов?“ Публика бежала толпой, а толпа как бежала, публикой? Тоже мне, ценители музыки! »

После этих слов шел небольшой пробел и какой-то невнятный рисунок, – то ли чей-то профиль, то ли силуэт летящей птицы, перечеркнутый кривой решеткой. Под рисунком – загибающаяся книзу размашистая черта, а под ней – тоже размашистый абзац:

„Интересно, когда они принесут мне наконец дневники Козимы? Что-то они стали лениться и хуже выполнять мои приказы. Может быть, стоит объявить голодовку? То-то они забегают! Кто бы мог подумать, что даже в тюрьме есть свои положительные моменты? Ведь иногда трудно понять, кто от кого больше зависит – они от меня или я от них. Тогда в глубине души начинает шевелиться подленькая мыслишка: а стоит ли суетиться и искать пути бегства? Не проще ли спокойно догнать в этом комфорта-

бельном бетонном мешке, упражняя свой ум необъятным простором чтения и интеллектуальных игр? Конечно, порой бывает одиноко, но разве когда-нибудь я мог найти себе более интересного собеседника, чем я сам?”

Абзац отчеркивала снизу еще одна размашистая черта, а под ней опять шел текст, очень плотный, – плотней, чем предыдущий. Ури уже приноровился к тайнописи Карла, и чтение пошло легче; однако прежде, чем приступить к дальнейшей расшифровке, он расправил затекшие ноги и глянул на часы – еще не было пяти, а читальный зал откроют только в девять. Хотя во рту пересохло и глаза начали уставать, сюжет в дневнике развивался гораздо увлекательней, чем Ури мог предположить. Ури постепенно проникался истинным, а не спровоцированным ревностью интересом к своему отталкивающему и притягательному сопернику. Впрочем, мог ли он назвать Карла своим соперником? Ведь до сих пор их пути и в жизни, и в душе Инге даже не пересекались. Они пересеклись только сейчас, на страницах дневника.

«Когда нарочный привез посылку от Шнапауфа, Рихард велел принести коробку к нему в кабинет на третий этаж и оставить на угловом столике, под стоячей лампой. Горничная зажгла лампу и принялась суетиться вокруг коробки, нацеливаясь ножницами – разрезать веревки. Но он цыкнул на нее, чтоб скорей убралась прочь и закрыла за собой дверь. Скользя взглядом вслед ее обиженно уплывающей спине, он заметил затаившееся в полутьме галереи бледное лицо Козимы, молящее впустить ее и приобрести к церемонии вскрытия коробки. Но он не снизошел, дверь захлопнулась и лицо исчезло. Ему даже привиделось, что когда дверь почти коснулась косяка, лицо Козимы дрогнуло, как от пощечины, но это дела не меняло – Рихард хотел открыть посылку в одиночестве, чтобы никто не помешал ему насладиться вволю.

Он подхватил коробку и спустился по винтовой лестнице на второй этаж, в свою гардеробную комнату, обе двери которой можно было запереть изнутри. Винтовые лестницы, соединяющие спальни третьего этажа с умывальными и гардеробными второго, были его личным изобретением, которым он гордился. Лестницы были

встроены во внутренние углы комнат и напоминали ему хитроумное строение человеческого тела, в котором все грязное и низменное спрятано глубоко под кожей, так что для обозрения остается лишь красивое и возвышенное. В его доме гости видели только высокий, уходящий под крышу, сводчатый зал и грациозные галереи, окаймляющие второй и третий этаж, тогда как интимная жизнь обитателей дома была скрыта от чужих глаз.

Рихард запер обе двери и, быстро разрезав веревки, жадно запустил руки в прохладную глубину коробки. Пробежав кончиками пальцев по ласковым складкам шелка, он собрал их в тугий жгут и быстрым коварным движением выплеснул на пол полдюжины отороченных кружевами сорочек и три атласных халата – розовый, лиловый и абрикосовый, – украшенных ажурной вышивкой по вороту и у запястий. Потом поспешно сорвал с себя стеганую домашнюю куртку и, секунду поколебавшись, с какого халата начать, набросил на плечи лиловый, сунул руки в рукава и, чуть покачивая бедрами, пошел к высокому стенному зеркалу. Подобрал фалды подола округлым движением согнутой в локте руки, он привстал перед зеркалом на цыпочки и залюбовался трепетными бликами света на фиалковой глади атласа. Хоть до вечера было далеко, за окном стоял белесый зимний сумрак, и свет лампы у него за спиной скрывал его черты в дымчато-сиреневой тени. Небольшая фигурка перед зеркалом просеменила балетным шагом вправо, потом, высоко взметнув расклешенный подол, сделала мелкий пируэт влево и засмеялась, откинув назад большую кудрявую голову на тонкой шее. Рихарду определенно нравился этот, отраженный в зеркале полутенями, хрупкий силуэт неопределенного пола. Именно этого Козима и боялась.

Козима вообще имела склонность к самым разным страхам и тревогам: она боялась детских болезней, неуклонно растущих долгов и причуд короля Людвига – как его немилости, так и его чрезмерной милости. А уж в прошлом году, из-за открытия фестиваля, причин для страхов и тревог было хоть отбавляй. Король дал знать, что прибывает августа третьего, в полночь, нужно было среди ночи ехать его встречать. Козима ни за что не хотела отпустить Рихарда одного, она увязалась за ним на станцию, но ему в конце концов удалось отправить ее домой, ссылаясь на то, что

дети там одни и могут внезапно проснуться. Она нехотя уехала, все озираясь на короля, который хоть уже не сверкал былой юной прелестью, но все еще был молод и хорош собой.

Она уехала, а Рихард последовал за королем в загородный дворец Эрмитаж, полный романтической прелести, особо неотразимой при свете луны. Король прибыл налегке, без свиты, с ним были только денщик и адъютант, которые, устроив комфорт короля, скромно удалились и оставили их наедине. Прошлое, конечно, уже отошло. Уже не было той страсти, того опьянения, но все же славно было провести с королем несколько ночных часов в память о былой любви.

Домой Рихард вернулся уже на рассвете и, секунду поколебавшись, приоткрыл дверь в спальню Козимы. Она, как он и ожидал, не спала и плакала, но он уже давно научился справляться с ее настроениями. Он стал на колени у ее постели, взял ее ладонь в свои и прижался к ней щекой. Она слабым голосом спросила:

– Что так долго?

– Король хотел знать все подробности про фестиваль. Ты же понимаешь, что я не мог ему отказать. Наши дела так зависят от его щедрости.

Последняя фраза была чистой правдой, но именно на нее Козима быстро нашла возражение:

– Мы можем обойтись без него, если возьмем деньги, оставленные мне мамой, и заложим дом.

Как будто Рихард только и мечтал заложить дом и истратить деньги, оставленные ее матерью! Но он подавил раздражение и прошептал, поглаживая ее мокрое от слез лицо:

– Я знаю, что тебе ничего для меня не жаль. Я только не понимаю, чем я заслужил такую любовь. Ты настолько лучше, прекрасней и благородней, чем я!

Она тут же ему поверила и вспомнила наконец что должна заботиться о нем:

– Иди, ложись, ты ведь, наверно, страшно устал. А завтра такой тяжелый день – репетиция „Валькирий“ в присутствии публики.

Публика, о Боже! Толпа, которая видит только то, что представлено на сцене, и не в состоянии понять глубинных смыслов и

страстей, таящихся за внешним фасадом. Но – увьи! – без публики никакой успех невозможен.

Рихард сбросил на пол лиловый халат и надел розовый. Этот был совсем другого фасона, широкий в плечах, он далеко запахивался на талии и сужался книзу. В нем Рихард казался гораздо выше и уже не чувствовал себя таким крошкой. Кто знает, может, будь он чуть богаче и выше ростом, он бы не боролся с таким упорством за воплощение своих замыслов? Не боролся бы и не добился бы своего – не построил бы собственный театр в Байройте и не осуществил бы там прошлым летом свой первый фестиваль. И какой фестиваль – „Кольцо Нибелунгов“ было сыграно три раза подряд, все четыре части, про которые музыкальные жида заранее присудили, что поставить их невозможно!

Однако он совершил невозможное, он собрал вместе сто пятьдесят выдающихся музыкантов и посадил их в оркестровую яму, какой больше нет нигде, ни в одном театре в мире. Тому, кто не присутствовал при этом, трудно представить, какой вдохновляющий эффект производит на слушателей невидимый оркестр. Ах, продолжить бы это, продолжить, но в этом году фестиваль провести не удалось. Честно говоря, Рихард не знал, огорчаться этому или радоваться, – слишком уж много сил ушло тогда на организацию спектаклей и на постоянную борьбу с трудностями, особенно с финансовыми. Ведь им до сих пор не удалось расплатиться с прошлогодними долгами. Он лично не страдал от безденежья так, как Козима, он с юности привык, что денег всегда не хватает. Однако обидно, что, несмотря на успех, дефицит после фестиваля оказался непомерным и покрыть его можно только, если пойти на поклон к сильным мира сего.

И он не почел за стыд, он, Рихард Вагнер, пошел и поклонился. Поклонился раз, и другой, и третий. И где же они, эти богатые покровители искусств? Что-то не бегут они на подмогу, протягивая свои туго набитые кошельки. Только один нашелся, граф Магнис фон Уллерсдорф, прислал пять тысяч марок, впрочем, неправда, не один – еще какая-то старая дама из Нюрнберга отвалила от своей пенсии сто марок. Но что такое пять тысяч марок при дефиците в сто пятьдесят тысяч, даже если к ним добавить оторванную от старушечьего убожества сотню? А других благодетелей пока

не видно. Впрочем, это не удивительно, ведь богатые люди – в большинстве евреи, чего же от них ждать? А остальные, если и не евреи, то верят в жалкую ненавистную ложь еврейских газет.

Рихард набросил абрикосовый халат поверх розового и присел на край ванны. Ванна тоже была построена по его проекту – в стену над ней была впрессована огромная перламутровая раковина, напоминающая о морских тайнах. Слава Богу, он не водит сюда журналистов, а то бы они обязательно настрочили очередные памфлеты о том, как он, жалуясь на неподъемный дефицит, только и делает, что балует себя роскошью. На прошлой неделе он прочел объявление в „Новой Свободной Прессе“, в котором они обещают опубликовать его давние письма к одной венской модистке, разоблачающие его расточительство. Они не пожалели денег, чтобы выкупить у нее эти письма и напечатать в своей жалкой газетенке длинный список его заказов и капризов, всех этих халатов, жакетов, панталон и башмаков.

Да, он расточителен и балует себя роскошью, ему это необходимо, чтобы воссоздать в музыке несуществующий мир своей фантазии. Его фантазия нуждается в этой роскоши, в этом бальстве! Разве можно кому-нибудь объяснить, какой это адский труд – писать музыку? Этому нельзя научиться, это каждый раз надо начинать сначала. Для этого ему нужно полностью оградить себя от внешнего мира, с помощью вышитых подушек, бархатных гардин и пряных благовоний, не допускающих до него пошлые, будничные запахи реальной жизни.

Он раздраженно сорвал с себя оба халата и сделал несколько мелких шажков вдоль линии паркета, представляя себя на месте юного канатоходца, искусство которого недавно так восхитило его. В тот день они с Козимой во время прогулки случайно зашли в бродячий цирк, разбивший свой шатер на базарной площади. Стоя в толпе, глазевшей на представление, Рихард с увлечением следил, как юноша грациозно идет по канату до самой крыши, бесстрашно улыбаясь глядящим на него снизу людям. Вдруг Рихард заметил, что Козимы нет рядом с ним. Он протиснулся сквозь толпу и нашел ее снаружи, за деревом – плотно закрывши глаза ладонями, она стояла, прижимаясь лицом к морщинистому стволу. „Я не могу спокойно смотреть, как человек так отчаянно рискует

жизнью в борьбе за свое жалкое существование.“ „При этом ты имеешь в виду меня?“ – спросил ее тогда Рихард, а она зашептала испуганно, словно опасаясь, что кто-нибудь их подслушает: „Нет, нет, что ты!“ А на днях кто-то рассказал Козиме, что отважный юноша погиб в Регенсбурге, сорвавшись с каната во время представления.

Вешая халаты в шкаф, он услышал, как Козима тихонько поскреблась в дверь, соединяющую ее гардеробную с его, и тревожно спросила:

– У тебя все в порядке?

Он глянул за окно – на улице уже сгущались сумерки – сколько же времени он провел тут, погруженный в свои мысли?

– Да, да, я скоро выхожу! – неохотно отозвался он, не желая чрезмерно огорчать ее, ведь он и так был перед нею виноват. Чтобы скрыть от нее часть присланных ему из Парижа вещей, он начал торопливо убирать сорочки в комод и только тут заметил эту газету. Он, наверно, видел ее и раньше, но не обратил внимания – обыкновенная старая газета, которой было устлано дно картонной коробки.

А сейчас вдруг увидел! С пожелтевшего скомканного листка на него глядело обведенное траурной рамкой лицо Мишеля Бакунина. Нет, не то лицо, которое он так хорошо знал и много лет после тех событий часто видел во сне, а другое, отечное, тяжелое, больное, но все же узнаваемое. Потому что этого человека ни с кем нельзя было спутать. Рихард схватил газету, – была она парижская, не газета даже, а газетенка, вроде той, что грозитя опубликовать его письма к венской модистке. Жалкий листок какого-то международного Альянса на убогой, дешевой бумаге, – Боже мой, с каким только отребьем водится Джудит!

Несмотря на то, что газетенка была сильно смята и топорщилась бахромой по углам, Рихард все же разглядел верхнюю строчку слева: она была от четвертого июля семьдесят шестого года, почти от того самого дня, когда в его жизнь непредвиденно ворвалась Джудит. Выходит, со смерти Мишеля прошло уже полтора года, а он и не знал. Даже и не почувствовал, что Мишеля нет в живых, а ведь в каком-то затаенном уголке души тот присутствовал всегда, время от времени покалывая и садня, как больной зуб. Рихард

попытался прочесть то, что было написано под фотографией, хоть кое-какие фразы стерлись до полной неразборчивости, а кое-какие он не смог понять из-за своего французского языка, прихрамывающего даже после того, как он изрядно ему подучился, переписываясь с Джудит:

„Вчера, 3 июля 1876 года, на православном кладбище швейцарского города Берна были преданы земле останки покойного Мишеля Бакунина. Навсегда ушел от нас мятежник, вагабунд, прирожденный партизан революции... не забудем его слова:

„...буду счастлив, когда весь мир будет стоять в пламени разрушения.“ „...и чтобы легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Это буйство похорон и есть моя жизнь...“

„...ни смертный приговор, ни годы тюрьмы не смогли сломить...“

Похоже, Мишель мало изменился за эти годы. Все тот же фейерверк лозунгов и парадоксов. „А ведь как он тогда увлек меня, как окрылил!“ – подумалось, пока глаза искали смысл, скрытый в наполовину стершихся строчках:

„...в истории дальше уходит тот, кто не знает, куда идет... Страсть к разрушению – это созидательная страсть...“

Рихард явственно, со всеми тончайшими модуляциями, услышал, как Мишель мог произнести эти слова, – голос у него, небось, остался все тот же, громовой, от такого голоса рушатся стены. И вспомнилось, как Мишель поразил его при первой встрече. Могучий, синеглазый, не знающий страха, он говорил возвышенно и блестяще, уверенно рассекая воздух крупной ладонью с красивыми длинными пальцами. Рядом с этим гигантом Рихард почувствовал себя совсем крошкой, и сердце его сперва сжалось в комок, а потом до невозможности расширилось, готовое взорваться, – перед ним был подлинный Зигфрид, прекрасный, синеглазый, не знающий страха. Сам Рихард хорошо знал страх и потому бесстрашие Мишеля так его увлекало.

Он расправил газету – следующий абзац был почти в сохранности:

„Свои последние дни М.Б. провел в городской больнице Берна, куда попал сразу после своего приезда из Лугано, где он проживал в последние годы на принадлежащей ему Вилле Брессо.“

Значит, Мишель жил в Швейцарии, совсем неподалеку от тех

мест, где и Рихард провел много лет. Да и часто, с тех пор часто бывал наездами. Он ведь, собственно, знал об этом, – то ли слышал, то ли читал в газетах. Знал, наверняка знал, но как-то изловчился вытолкнуть из памяти, чтоб не давило, не напоминало, не беспокоило уколами совести. И ни разу не попытался найти Мишеля, черкнуть ему письмишко, условиться о встрече. Но и Мишель тоже хорош, – предположим, у Рихарда были причины избегать Мишеля, но ведь и Мишель не попытался с ним связаться. А не мог не знать, что Рихард живет в Байройте – последние годы он стал знаменит, о нем много и зло писали жидаы и журналисты, что в сущности одно и то же. Особенно после успеха прошлогоднего фестиваля, который они стремились объявить провалом. Что ж, возможно, и у Мишеля были свои причины избегать Рихарда. Например, эта Вилла Брессо, якобы принадлежащая ему. Ему, человеку, страстно отвергавшему саму идею собственности? Впрочем, журналистам ни в чем нельзя верить, равно как и жидам. Очень может быть, что такой виллы вообще нет на свете, – интересно, кем подписан этот некролог?

Рихард перевернул смятый листок и поглядел на подпись – „группа друзей“, и прямо через абзац над подписью вдруг увидел свое имя. Сердце на миг екнуло – „неужто пронюхали?“ – и он стал торопливо читать:

„Последний раз М.Б. покинул стены больницы, чтобы посетить своего друга, пианиста Адольфа Райхеля, который сыграл ему несколько вещей его любимого Бетховена. „Наш мир погибнет, – сказал Мишель, слушавший музыку стоя, поскольку сильные боли не позволяли ему сидеть, – и только Девятая Симфония останется.“ И он вспомнил, как в 49 году в Дрездене, прямо накануне восстания, ему посчастливилось присутствовать при необыкновенном исполнении Девятой Симфонии Бетховена. Дирижировал ныне прославленный композитор Рихард Вагнер. И, перейдя к последним произведениям своего бывшего соратника и друга, Мишель, превозмогая боль, высказал неодобрение по их поводу.“

Вот как, неодобрение, значит? Мы это переживем... Однако соратником и другом все же назвал, хотя, может, это группа друзей постаралась – чтобы придать покойному больше значительности.

Потому что из описания похорон никакой значительности не получалось:

„Похороны прошли очень скромно. Это было 3-е июля, стоял жаркий летний день, снежные пики сверкали над городом в безоблачном небе. В ожидании прибытия похоронного кортежа могильщики отпускали шутки по поводу размера заказанной им могильной ямы. Гроб прибыл в сопровождении небольшой группы провожающих, их было не более тридцати пяти. Присутствовали только представители разных швейцарских секций Интернационала. Иностранных друзей и последователей не успели оповестить. Некоторые из присутствующих плакали. Но вся церемония в целом производила впечатление мелкой, несоответствующей грандиозному масштабу личности усопшего борца с тиранией буржуазного общества.

Супруга покойного, Антония, была извещена о смерти мужа по телеграфу и прибыла из Неаполя только через несколько дней после похорон.“

Ах, так у Мишеля была жена, – вот это, действительно, новость! Жена Антония, которая не побеспокоилась даже навестить умирающего мужа в больнице, хоть, как сообщает „группа друзей“, он с 28-го июня был в агонии. А она не только не мчалась к смертному одру супруга, но прохлаждалась в Неаполе, а не в Лугано, где была якобы принадлежащая ее мужу Вилла Брессо. Не загадка ли это?

Для кого-нибудь, возможно, и загадка, а для Рихарда единственной загадкой здесь было само наличие у Мишеля жены. Но и он готов был допустить вмешательство неизвестных ему обстоятельств, побудивших его бывшего соратника и друга к женитьбе.

За дверью опять послышался шорох:

– Рихард, Рихард! – позвал голос Козимы, – ты выйдешь к ужину? Дети уже сидят за столом.

– Уже иду! – нехотя откликнулся Рихард и начал поспешно натягивать сброшенную с плеч на пол стеганую, обшитую золотым шнуром, домашнюю куртку испанского бархата. Застегивая обтянутые узорным шелком пуговицы, он вдруг почувствовал, что пальцы занемели и плохо слушаются, – то ли он слишком разнервничался, то ли продрог, сидя на краю холодной ванны в одной тонкой со-

рочке. Однако он заставил себя застегнуть все пуговицы в правильном порядке – ни к чему было показывать при детях, что он чем-то расстроен. Хотя он давно заметил, что дети вовсе не так чувствительны, как Козима старается представить. Не далее, как вчера, он застиг своих дочерей за тем, что они разрывали землю в центре тщательно им самим спланированного и заранее любовно воздвигнутого могильного холма, достойного его грядущей славы. На его вопрос, что они там делают, они ответили с простодушной наивностью, что ищут червей для своей черепахи!

За ужином Рихард был рассеян и молчалив, однако не преминул заметить на щеках Козимы следы недавних слез. Она то и дело бросала на него испуганные взгляды, но не отважилась спросить, чем он так озабочен. Он еще не решил, стоит ли рассказывать Козиме про смерть Мишеля, – она по натуре была излишне чувствительна и склонна к легким слезам. Кроме того, он понимал, что сегодняшняя посылка беспокоит ее не столько из-за неизвестного ей содержимого, сколько из-за неизвестного ей отправителя, и если он покажет ей скверную парижскую газетенку с некрологом, она сразу заподозрит, что посылка от Джудит. Она, похоже, и так что-то подозревает, оттого последнее время бледна и часто жалуется на головную боль. Нужно предупредить Шнаппауфа, чтобы был поосторожней с письмами, а насчет посылки он обязательно что-нибудь придумает, но только завтра, сегодня у него мысли путаются из-за Мишеля.

Сегодня он должен побыть один. Рихард хорошо знал свои нервы, – он долго теперь не сможет спать по ночам и кожа его покроется красной сыпью, он уже чувствует, как начинается нестерпимый зуд подмышками и в паху. Спасение только в одном – сосредоточиться, вспомнить до мельчайшей детали то, что его мучает, чтобы поскорей начисто это забыть и освободиться навсегда.

Он постиг эту мудрость в последние годы своей совместной жизни с Минной, если этот кошмар можно назвать жизнью – она истязала его бессмысленной ревностью, а он истязал ее приступами яростного раздражения. Удивительно, как он не прикончил ее в одну из очередных минут застилающей глаза ненависти!

Тогда он тоже не спал по ночам и с ног до головы покрывался

зудящей красной сыпью. Но однажды, невероятным усилием воли преодолев желание разбить об ее голову одну из ее обожаемых фарфоровых ваз, он взял маленький заплечный мешок и ушел в горы, – благо, тогда они жили в Швейцарии! Три дня он провел в полном одиночестве, блуждая среди скал по козьим тропам и питаясь хлебом с сыром, который покупал за гроши у неприветливых местных крестьян. И на третий день в голове его прояснилось какое-то окно, сквозь которое он увидел, как он любил ее когда-то и как сходил с ума, когда она пару раз бросала его и уходила к другому. В те дни не она ревновала его, а он ревновал ее. Он не мог сказать, было ли это легче, – страдание всегда было его уделом, он безмерно страдал и от любви, и от ненависти.

В конце этих трех дней Рихард вспомнил все – и хорошее, и плохое, он принял Минну в ее новом, чуждом ему, облике и навсегда отделил ее от своей жизни. Когда он вернулся домой, он мог позволить ей говорить и выкрикивать все, что ей было угодно – его это больше не задевало. Он уже не слышал ее голоса и мог спокойно углубиться в единственно важное дело своей жизни, в свою работу.

Когда она особенно сильно досаждала ему, он больше не испытывал желания ее задушить, а вспоминал, как они, тесно обнявшись, ожидали смерти на палубе маленькой шхуны, на которой им пришлось бежать от кредиторов из Риги в Лондон вскоре после женитьбы. Шторм с воем швырял хрупкую скорлупку шхуны то вниз, в головокружительную бездонную пропасть, то вверх, на острие крутого горного пика. С ужасом глядя на вздымающиеся вокруг необозримые волны, Минна начала громко молить Бога, чтобы он не дал бушующей морской стихии поглотить их по отдельности, пусть лучше их убьет удар молнии, пока они вместе. Ее молитва на фоне свиста ветра и рева штормового моря навсегда осталась в памяти Рихарда, в ней была дивная музыка, которая легла в основу увертюры к его опере „Летучий Голландец“. Думая об этом, он готов был простить ей ее потерявшее упругость тело, ее глупые претензии, ее пронзительный голос, и даже ее неспособность понять глубину его замыслов.

А теперь, когда ее давно уже нет в живых, он бы десятикратно простил ее – он начал заново ценить „Летучего Голландца“ с тех

пор, как Джудит открыла Рихарду, что именно эта ранняя его опера привела ее к нему. И прямо тут, за семейным столом, он снова мысленно пережил волнующий рассказ Джудит о том, как она в пятнадцать лет случайно обнаружила на рояле клавир „Летучего Голландца“. Она попробовала его сыграть, – и ей вдруг открылось величие драмы и музыки. Он закрыл глаза и внутренним взором увидел, как прелестная пятнадцатилетняя Джудит, уже не девочка, но еще не женщина, склоняясь к роялю темнокудрой головкой и почти касаясь клавиш юными, еще не созревшими грудками, в сотый раз пытается сыграть очередной трудный пассаж. Он засмеялся, представив себе, как ее домашние, измученные бесконечными повторами одной и той же мелодии, пытаются прервать ее исступленное музицирование, а она упорствует и продолжает.

– Что с тобой? – услышал он встревоженный голос Козимы, чудом прорвавшийся сквозь набегающие музыкальные волны. – Тебе нехорошо?

Рихард вздрогнул и открыл глаза.

– Что-то голова слегка кружится, – почти честно признался он, потому что голова и впрямь слегка кружилась. Козима тут же принялась хлопотать вокруг него с грелкой и фруктовой настойкой, прописанной ему на случай головокружения.

– Может, отменим на сегодня чтение? – предложила она нерешительно, но он отверг это предложение. Именно потому, что сегодня он был вовсе не расположен читать вслух, он не хотел нарушать эту, столь дорогую сердцу Козимы, семейную традицию. Ему необходимо было успокоить жену и обеспечить себе несколько свободных от ее тревожного надзора ночных часов.

Козима попросила почитать Дон-Кихота, но он отклонил ее просьбу, ссылаясь на то, что роман Сервантеса содержит слишком много скабрзностей. Он остановил свой выбор на шекспировском Макбете, – читать вслух пьесу было гораздо легче. Он начал читать и на какое-то время настолько вошел во вкус, что забыл про некролог в жалкой парижской газетке, – он был прирожденный чтец, искусство перевоплощения увлекало его. Козима, как обычно, слушала его, восхищаясь каждой разыгранной им репликой, и он, как это часто случалось в последний год, внутренне съежился

от дурного предчувствия, что однажды она все узнает и не простит. Но именно эта эквилибристика на грани разоблачения и придавала его роману с Джудит ту остроту, которая подстегивала его нервы до звенящего напряжения, необходимого для его работы над „Парсифалем“. Он не мог отказать себе в этой последней радости – „Парсифаль“ был его лебединой песней, после него оставалась только смерть.

Мысль о смерти опять напомнила ему о некрологе, и он опустил книгу на колени.

– Может, хватит на сегодня? – спросил он, заглядывая Козиме в глаза и замечая, как ужасно она устала. – Иди спать, детка, а я еще поколдую над книгами.

Она, хоть и умирала идти спать, все же ушла не сразу, а сперва немного похлопотала вокруг него, заботясь о его головокружении и микстуре от кашля. Он терпеливо переждал ее заботы, а потом еще четверть часа, пока не убедился, что она поднялась из своей гардеробной комнаты наверх, в спальню. После этого он подождал еще десять минут – для верности, хоть она обычно засыпала мгновенно, умученная дневными хлопотами, обеспечивающими ему мир и покой. Потом тихонько, стараясь не шуметь, он спустился вниз, в лиловый салон Козимы и открыл ящик бюро, в котором она хранила свой дневник.

Ему необходимо было вспомнить, чем он был занят в те дни, когда Мишель умирал, над чем бился в тот день, когда Мишель умер, чему радовался в тот день, когда громоздкий гроб с телом Мишеля опустили в сырую яму на кладбище в Берне. Странно, он мог с легкостью восстановить в памяти – не только по дням, но даже по часам – их ночные прогулки с Мишелем, их нескончаемые страстные беседы почти тридцатилетней давности. Но вот события прошлого лета слились в один долгий нерасчлененный сердечный спазм на пестром фоне репетиций, декораций, капризных выходов актеров и вечной головной боли о деньгах.

Впрочем, головная боль из-за денег преследовала Рихарда и в тот незабываемый год, когда они с Мишелем, беспечные и молодые, фланировали по улицам спящего Дрездена, погруженные в увлекательные споры о судьбах человечества. Просто в те далекие дни забота о долгах и кредиторах не ложилась на его душу таким

нестерпимым бременем. Тогда его гораздо больше занимал любовно вынашиваемый под сердцем проект создания саги о Нибелунгах. Как капризно распоряжается нами судьба, – во время одной из ночных прогулок по набережной Эльбы он попытался поделиться своими замыслами с Мишелем, но тот не пожелал его слушать, поскольку намеревался разрушить всю эту жизнь вместе с ее обывательской культурой, включающей и замыслы Рихарда. И что же? Теперь, через двадцать восемь лет, „Кольцо Нибелунгов“ Рихарда Вагнера завершено и поставлено на сцене театра Рихарда Вагнера, а Мишель Бакунин, так и не дождавшись крушения буржуазного мира, умер в швейцарской больнице, которая была неотъемлемой частью этой живучей культуры.

Что же было в день смерти Мишеля? 1-е июля – его можно легко себе представить: разгар лета, самодовольная пышность листвы на деревьях королевского парка, калейдоскоп цветов на клумбах Винфрида, однако в памяти нет ни одной житейской детали из этого дня. А как ясно встает перед глазами сцена его последнего прощанья с Мишелем, странная, почти фантастическая, не похожая ни на какое другое прощанье.

Это было 10 мая в небольшом городке Фрайберг под Дрезденом, куда временное революционное правительство вынуждено было бежать вместе со своей разгромленной армией. И Рихард тоже последовал за ними – у него были на то свои причины.

Он нашел своих соратников в гостиной дома главы временного правительства Хюбнера, который был жителем Фрайберга. Они отчаянно спорили о том, что лучше, – с оружием в руках защищать Фрайберг от наступающей прусской армии или отступить и перегруппироваться в более крупном Хемнице, где была надежда на поддержку рабочих организаций. Спорили до хрипоты уже несколько часов, голоса разделились, и ни один из вариантов не выглядел приемлемым. В конце концов члены правительства, безумно уставшие после нескольких дней тяжелых боев на баррикадах Дрездена, отправились проверять состояние своих войск, а Рихард остался в гостиной наедине с Мишелем.

Они сидели на диване, намереваясь обсудить какие-то подробности предстоящего дня, как вдруг Мишель замолк на полуслове и, грузно откинувшись на спинку дивана, захрапел. Рихард попро-

бывал встряхнуть его, но все его попытки разбудить Мишеля ни к чему не привели, он только качнулся вбок, положил голову на плечо Рихарда и навалился на него всей своей непомерной тяжестью.

Рихард и сейчас с поразительной ясностью ощутил всю горечь разочарования, охватившего его в тот момент – все эти месяцы он так жаждал физического контакта с Мишелем, жаждал его прикосновения к своей коже, предвкушая блаженство электрической искры, которая вспыхнет в его теле от этого касания. Но он хотел нежной, человеческой ласки, а не этого – бездумного, неосознанного – давления тяжелой головы Мишеля на свое плечо. Тем более, что впереди зияла пропасть, в которую можно было упасть, если не разбежаться перед прыжком изо всех сил. Ему стало не по себе, – еще не все было обдумано, не все опасности взвешены. Пора было отправляться в путь. Он отвел ото лба Мишеля крутые темные кудри, легко-легко коснулся их губами, высвободил затекшее плечо, и, с трудом оттолкнув увесистую тушу друга, поднялся с дивана. Мишель безвольно скатился на сиденье и захрапел еще сильнее. Бросив на него прощальный взгляд, затуманенный непрошенной слезой, Рихард вышел из гостиной. Больше они никогда не виделись.

До сегодняшнего дня, когда он вновь увидел глаза Мишеля, глядящие на него с газетной страницы. Впрочем, это уже не в счет, Мишеля нет в живых с 1 июля 1876 года. Рихард раскрыл дневник Козимы за 76-й год – в том месте, где должна была быть запись за 1-е июля. Но такой записи не оказалось – вместо нее был скомканный абзац, помеченный числами 1–11 июля. Выходит, недаром у него в душе осталось ощущение мучительного куса непрожеванного времени, если даже неутомимая Козима не смогла расчленить этот ужасный период на отдельные дни! Что же тогда происходило?

„Воскресенье-Четверг 1-11 июля.

Прогон „Сумерек Богов“ от начала до конца! Тенор Унгер (Зигфрид), кажется, выздоровел, но тут же начались проблемы с баритоном Кугелем, исполнителем партии Хагена – он не выдержал напряжения и уехал. Огромные финансовые трудности, каждый день стоит 2000 марок, а доходы ничтожные. Казначей утверж-

дает, что через три недели ничего не останется. Я пытаюсь получить из Парижа хоть какую-то часть мамино наследство, пока безрезультатно. Пришел по почте пакет от Ницше с замечательным эссе „Вагнер в Байройте“ – „Сумерки Богов“ воистину вдохновляющее творение! Душераздирающее известие о внезапной смерти одного из наших оркестрантов – скрипача Рихтера из Берлина!“

Теперь Рихард ясно вспомнил первое июля – это было еще до приезда Джудит, – первый прогон „Сумерек Богов“, первая воплощенная на сцене смерть Зигфрида! Подумать только – в день смерти Мишеля! У Рихарда холодок пошел по спине – может ли это быть простым совпадением?

И разом, переплетаясь и путаясь, хлынули несовместимые образы из разных времен. Вот Мишель, заметив, что Рихард то и дело прикрывал рукой слезящиеся глаза, заслоняет лампу непомерной лопатой своей ладони и держит ее так, на весу, все полтора часа их беседы. И тут из-под ладони Мишеля вовсе некстати выглядывает обрамленное редкими кустиками седеющих кудрей лицо берлинского скрипача Рихтера, скоропостижно скончавшегося где-то в начале июля, во время репетиции „Валькирий“.

Скрипач Рихтер умер от разрыва сердца, и при мысли об этом собственное непрочное сердце Вагнера начинает тихонько скулить то ли под ложечкой, то ли под лопаткой. И вспоминается один ужасный день, тогда же в июле, еще до приезда Джудит, – Рихард с Козимой пригласили в ресторан „Странствующий рыцарь“ механиков сцены братьев Брюкнеров, которые на месяц просрочили изготовление плавательного аппарата для хоровода рейнских русалок в „Золоте Рейна“. Так же заскулило у Рихарда под ложечкой, когда один из братьев пролепетал в свое оправдание, что они весь этот месяц были заняты по горло, выполняя заказ старого клиента герцога Мейнингенского. Рихарду и сейчас тяжело вспомнить, какой гнев охватил его, когда он услышал, что для них он всего навсего „клиент“. Как он бушевал, как швырял на пол тарелки, как орал и топал ногами! Оказывается, он, Рихард Вагнер, создатель искусства будущего, для этих мастеровых такой же клиент, как и какой-то ничтожный герцог, который только тем и хорош, что получил по наследству титул и деньги! Прав был Ми-

шель, – вся современная культура прогнила и пора с ней кончать!

Правда, потом пришлось просить у Брюкнеров прощения. Но от ресторана „Странствующий рыцарь“ пришлось отказаться навсегда, – Рихарду было неловко появиться там снова после той ужасной сцены. Точно так же он отказался когда-то от Мишеля и не стал его искать, хоть прекрасно знал, что тот убежал из ссылки и вернулся в Европу. А Мишель, оказывается, все эти годы жил в Лугано, совсем по-соседству с Люцерном, где Рихард вынужден был поселиться в 65 году, когда молодой баварский король Людвиг упросил его убраться из Мюнхена добровольно, не дожидаясь, пока его подлецы-министры учинят им обоим какую-нибудь пакость. Он прожил там восемь лет, полных бурь и страстей, – на берегу озера, в роскошной вилле Трибсхен, за аренду которой платил король, а обживать и обставлять помогала Козима, тогда еще формально жена его лучшего друга, дирижера Ганса фон Бюлова.

Честно говоря, в начале этих драматических восьми лет Рихарду было не до дрезденских воспоминаний и не до дрезденских друзей. Его судьба всецело зависела от юного короля, фанатично, безумно в него влюбленного. Хоть король вынужден был подчиниться требованиям своих завистливых подлецов-министров, он все равно не отказался от идеи осуществить постановку всех опер Рихарда в баварском королевском театре. Не говоря уже о солидных суммах, которые он платил за переданные ему авторские партитуры этих опер.

В те годы любовь короля была главным достоянием Рихарда. Она была последней соломинкой, протянутой ему с небес в тот страшный миг, когда все его надежды рухнули и черная бездна небытия уже разверзлась, чтобы поглотить его навеки. И не успел он прийти в себя от этой нежданно свалившейся на него милости, как ему была оказана другая милость, не столь неожиданная, но зато в то время крайне неуместная – на него свалилась Козима, вконец отчаявшаяся наладить свой неудачный брак с Гансом и полная решимости заполучить Рихарда.

Она отважно покинула Ганса и, поселившись в Трибсхене, начала рожать Рихарду детей, скрывая при этом от всего мира, что дети от него, а не от Ганса. Поначалу Рихард с ужасом представлял

себе, какие формы примет ярость влюбленного короля, когда тот узнает, что он изменяет ему с Козимой. Но годы шли, после рождения двух дочерей Козима была беременна в третий раз, а король все еще ничего не подозревал. Рихард, научившись загонять страх в дальние закоулки души, постепенно втянулся в блаженный ритм семейной жизни, созданной заботами преданной Козимы, и погрузился в создание „Кольца Нибелунгов“.

Как-то в мае – уже подзабылось, какой это был год, – в день рождения Рихарда, король Людвиг сюрпризом примчался из Мюнхена в Трибсхен и, не в силах больше выносить разлуку, объявил, что намерен незамедлительно отречься от престола, чтобы навсегда остаться с Рихардом. Это были головокружительные дни – нужно было отговорить молодого безумца от бредовой идеи отречения, изощрившись как-то так объяснить присутствие в Трибсхене Козимы с новорожденной дочкой Изольдой, чтобы не лишиться королевской привязанности, на которой держалось все настоящее и будущее благополучие Рихарда. И при этом не дать и Козиме повода заподозрить что-либо насчет интимного характера своих отношений с королем.

При одном воспоминании об этих днях Рихарда бросило в дрожь, и он опять почувствовал себя циркачом, одиноко идущим по канату, высоко натянутому над головами зрителей...»

* * *

Тут рука Карла снова провела волнистую линию, под которой он пошел писать крупней, свободней, но менее удобно для расшифровки:

„Если бы беззаветные обожатели музыки Вагнера смогли когда-нибудь прочесть эти строки, они бы меня, наверно, линчевали. Но вряд ли им удастся это прочесть. Оно и к лучшему, а то пришлось бы им объяснять, как мне представилась уникальная возможность изучить дневники и письма нашего национального гения с таким тщанием, на какое у человека на воле просто не хватило бы сил. Кто бы ему обеспечил тот необъятный простор свободного времени, какой дает только тюремное заключение? Ведь мне не надо заботиться ни о чем – ни о зарплатке, ни о карьере, ни о хлебе

насущном. Все это – плюс доставку любых затребованных мною книг, – любезно обеспечивает наше прекрасное демократическое государство, которое я весьма непредусмотрительно, но, к счастью, безуспешно, пытался разрушить.

Но если бы у меня даже произошло столкновение с миллионами поклонников преобразователя немецкой оперы, я не стал бы их переубеждать. Я бы только скромно процитировал им некоторые выдержки из писем их кумира. Вот, например, его письмо из Парижа к другу голодной юности художнику Эрнсту Бенедикту Китсу от 8 июля 1841 года, в период особенно острой нищеты:

„Сегодня мне удалось раздобыть целых 50 франков, так что есть на хлеб. Только не спрашивай, как я их заработал. Я расскажу тебе при встрече - не будь слишком суров к педерастам!“

А вот отрывок из другого, гораздо более позднего письма, которое Вагнер написал где-то в конце 69-го года своему личному врачу и другу Антону Пусинелли:

„Вообще-то я, похоже, принадлежу к тому редкому типу людей, которым суждено жить и работать до глубокой старости. Хотя я быстро вспыхиваю и при раздражении меня бросает в жар, я столь же быстро прихожу в себя и вновь чувствую себя здоровым. Единственное, что мне всерьез досажает, это боли и воспаление в прямой кишке. Когда летом 1868 я вернулся из Мюнхена, где по прихоти короля Людвига ставили „Майстерзингеров“, мои страдания были ужасны. Но поскольку причина этих страданий была мне ясна, я решил больше никогда не возвращаться в Мюнхен - там для меня суший ад.“

Я процитирую им эти письма не для того, чтобы их огорчить, а исключительно из сочувствия. Я отлично сознаю, что у них, бедняг, замученных будничными заботами обывательского быта, никогда не будет ни времени, ни сил прочитать тысячи страниц, написанных их кумиром – собственноручно или, в крайнем случае, надиктованных им любимой жене Козиме, молитвенно сохранившей для нас каждое слово своего великого супруга.

Впрочем, я напрасно упомянул Козиму в этом контексте – те письма, отрывки из которых я тут привожу, вряд ли предназначались для ее глаз. Не могу удержаться, так и тянет прервать самого себя забавной цитатой из дневника Козимы за 10 июля 78 года.

„Сегодня я весь день помогала архивариусу Глазенаппу составлять каталог писем Р. Перед ужином я рассказала об этом Рихарду, он смутился и воскликнул: „Какая глупая девочка!“ Когда я сказала, что прочла несколько его писем к королю, я заметила, что ему стало не по себе. Он сказал: „Увы, эти письма звучат не слишком красиво. Но ты ведь понимаешь, не я задавал тон этой переписки.“ Я заверила его, что понимаю, и увидела, что он почувствовал себя лучше.“

Еще бы ему не смутиться при мысли, что Козима прочла какие-то строки из его писем королю! Так, к примеру, начинается письмо от 13 июня 65 года:

„Мой самый красивый, самый совершенный! Мой возлюбленный, моя единственная радость и утешение! Мой король, мой друг, мой победительный Зигфрид!“

А так кончается другое, от 27 июля того же года:

„Разлученные - что может разлучить нас?

Отторгнутые друг от друга - мы все так же неразлучны!

Как я жду того мига, когда я вновь увижу вас, единственного, для кого я живу! Вы для меня - весь мир!“

После этих цитат уже не было никакой черты, просто невыразительное отточие, за которым опять побежали убористые, но четкие строчки:

«Юный король ворвался в жизнь стареющего Рихарда, когда, по всем внешним приметам, она уже подходила к концу. За пять бездомных лет, предшествующих появлению короля, Рихард многократно пересек Европу с запада на восток и с востока на запад в поисках пристанища и дружбы.

Венеция, Милан, Люцерн, Цюрих, Париж, Брюссель, Антверпен, Париж, Бад Соден, Франкфурт, Дармштадт, Баден-Баден, Париж, Карлсруэ, Париж, Вена, Париж, Цюрих, Карлсруэ, Париж, Бад Соден, Веймар, Нюренберг, Бад Райхенхаль, Вена, Венеция, Вена, Майнц, Париж, Майнц, Биберих, Карлсруэ, Биберих, Вена, Штутгарт.

И нигде, ни в одном из этих городов, не нашлось места, где он мог бы преклонить свою одинокую сидящую голову! После всех этих лет неприкаянности и безденежья внезапный кульбит его судьбы мог быть со всем сущим, кроме той цели, ради достижения которой ему стоило оставаться в живых.

А цель у него была великая, какой никогда не было у других художников. Он намеревался создать новый театр, такой, какой был немыслим до него, – театр для исполнения его опер, невиданных и неслыханных до него. Где им понять его, этим мелкотравчатым музыкальным жидкам, переполняющим и оперные подмостки, и оперные залы! Впрочем, напрасно он снисходит до мыслей о них, – они копошатся далеко внизу, там, куда никогда не ступит его нога, разве что он сорвется с каната в момент гибели. А он может сорваться, ах, как может! Все чаще напоминает о себе возраст, все чаще тошнотно кружится голова, и сердце, беспомощно трепыхаясь, закатывается под лопатку.

Но кое-какие радости у него еще остались. Их, правда, немного, раз-два и обчелся – сочинение музыки к „Парсифалю“ да тайная переписка с Джудит. Редкие письма от нее к нему и частые от него к ней, не по почте, а через верного друга, парикмахера Шнаппауфа. Рихард бросил взгляд на висящую над бюро акварель, изображающую Трибсхен среди деревьев, на фоне горы Пилатус, и увидел мысленным взором, как на высокий порог взбегают по ступенькам Джудит. Много лет назад она приезжала туда со своим молодым мужем, с которым она с тех пор давно уже развелась, – поклониться великому мастеру Рихарду Вагнеру. И хоть была она тогда юная и прекрасная, ему и в голову не пришло, что он еще полюбит ее бескорыстной стариковской любовью, похожей на последние лучи заходящего солнца, которое светит, да не греет.

Когда гаснут последние лучи солнца, наступают сумерки, а вслед за сумерками идет непроглядная ночь. Что ж, он готов на

многое, чтобы задержать убегающие за горизонт лучи, он даже готов смириться с тем, что в Париже у Джудит есть молодой любовник. Он только не может позволить этому мальчишке воображать себя композитором, – ведь сегодня всякий, кто чуть-чуть знает нотную грамоту, считает себя композитором. Ему больно думать, что прекрасная Джудит, которую он, Рихард Вагнер, назвал своей сладостной душой, не видит разницы между ним и своим возлюбленным молокососом, осмелившимся, по ее словам, на какое-то грошовое новаторство.

А впрочем, Бог с ней, пусть она думает что хочет о своем наглом мальчишке, лишь бы находила время для Рихарда. Какое счастье, когда Шнаппауф украдкой передает ему письмо из Парижа, надписанное ее теплой рукой! Как он рад ее посылкам, полным роскошных вещей из парижских магазинов, на покупку которых он тайком от Козимы переводит ей в Париж большие деньги! Ужас, о ужас, что будет, если Козима узнает!

Но он не может отказаться от Джудит, потому что даже страх разоблачения согревает сумерки его угасающей жизни. Чтобы поддержать ее интерес, чтобы не дать оборваться этой тонкой ниточке, он придумывает все новые и новые поручения, заказывает все новые ткани и душистые масла – чтобы Джудит бегала, искала, посылала, чтобы она всегда была занята мыслями о нем. Он уверен, что и сегодняшняя посылка потребовала от нее большой изобретательности – ей пришлось хорошо постараться, чтобы раздобыть все эти замысловатые ткани, вышивки и отделочные кружева, а потом объяснить искуснику Феликсу точные детали задуманных Рихардом халатов.

При мысли о посылке, под сердцем недобро кольнуло, напоминающая о газете с некрологом и о смерти. Господи, что это с ним? Он совсем забыл, зачем он спустился сюда тайком от Козимы! А ведь она не допустит, чтобы он бесконтрольно болтался всю ночь внизу, вместо того, чтобы спать в своей постели.

Он поспешно открыл резную дверцу бюро и, запустив руку вглубь, нажал защелку искусно скрытого под карнизом секретного ящичка – на дне коричневого гнезда лежал конверт со старыми документами. Рихард вынул из конверта тонкую пачку бумаг и начал осторожно перебирать их, пока не нашел пожелтевшую от

времени газетную страничку. Расправив ее на крышке бюро, он в который раз перечитал:

*„РАЗЫСКИВАЕТСЯ
в связи с недавними беспорядками, в которых
он принимал активное участие,
РИХАРД ВАГНЕР,
Королевский капельмейстер
города Дрездена*

возраст – 36 лет, рост – низкий, волосы – темно-русые, носит очки.

Полиция получила приказ приложить все силы к розыску вышеназванного Вагнера и, в случае ареста, немедленно доложить по начальству.

*Фон Коппель
Помощник начальника полиции г. Дрездена*

Май, 1949. “

Как видно, сил, приложенных полицией к розыску вышеназванного Вагнера, оказалось недостаточно, раз тот сумел улизнуть в соседний Веймар. А там его верный друг и покровитель Франц Лист уговорил некоего профессора Видманна отдать беглому дирижеру свой паспорт. С этим паспортом Рихард, несмотря на терзавший его страх, благополучно пересек германскую границу и оказался в Швейцарии, где уже никого не интересовал разыскиваемый немецкой полицией бывший королевский капельмейстер города Дрездена.

Но ему не удалось как следует сосредоточиться на изворотливости того Рихарда Вагнера, которого отделяли от сегодняшнего почти тридцать лет. Его чуткое ухо уловило еле слышный скрип отворившейся наверху двери, и голос Козимы позвал негромко:

– Рихард! Рихард, где ты?

Не отвечая, он испуганно затих, понимая, что попался – она теперь не успокоится, пока не отыщет его, куда бы он ни спрятался. Она подождала пару секунд, окликнула его еще раз и начала

медленно спускаться по лестнице. И хоть он с самого начала знал, что наступит момент, когда она проснется и отправится его искать, он как-то не сумел к этому моменту подготовиться. При звуке ее шагов он первым делом сунул дневник на место, а потом поспешно закрыл секретный ящик, в растерянности позабыв положить обратно вынутые оттуда документы. Когда он сообразил, что все еще держит их в руке, он торопливо сунул их под рубашку и начал завязывать шнуры на куртке, чтобы скрыть небольшое вздутие под сердцем.

За это время Козима миновала столовую на втором этаже и стала спускаться на первый. Теперь ей нужно будет только пройти через репетиционный зал, чтобы найти Рихарда, сидящего перед ее бюро под единственной горящей в доме лампой. А он не в силах был сейчас, глядя ей в глаза, разумно объяснить, зачем он в такой поздний час сидит перед ее бюро под этой лампой. И он решился, быстро схватил с полки первую попавшуюся под руку книгу – он все же успел глянуть на корешок, это были „Греки и римляне“ Шлегеля – и бесшумно опустился обратно в кресло. Шаги Козимы приближались, оставалось всего несколько секунд, – он устроил раскрытого Шлегеля в локтевом сгибе небрежно упавшей на грудь руки, как раз над вздутием под курткой, и закрыл глаза. Он услышал, как она вошла и на миг замерла на пороге, осознавая, по-видимому, что он спит. Стараясь дышать как можно ровней, чтобы не разоблачить свое притворство, он почувствовал, как ее тень заслонила свет лампы. Вдыхая едва уловимый запах ее волос, он сообразил, что она склонилась над ним, пытаясь рассмотреть лежащую у него на груди книгу, однако не решилась разбудить его, а потоптавшись вокруг бесконечно длинную минуту, на цыпочках пошла прочь. Краем глаза он проследил за ее уходящей в темноту спиной и вздохнул с облегчением, когда она стала медленно подниматься к себе в спальню.

К сожалению, он не услышал, стука притворенной двери, – она оставила дверь открытой, чтобы услышать, когда он пойдет к себе наверх. Теперь она, конечно, ни за что не уснет, пока не убедится, что он лег, – в таких условиях он не мог начать новую жизнь с секретным ящиком. Придется прихватить документы с собой и идти спать. Не только из-за Козимы, – вообще пора кончать

день, и так проклятая нервная сыпь расползается все дальше по животу и груди.

Наутро Рихард выглянул в окно и увидел, что за ночь выпал снег. Не настоящий, зимний, тяжелый и обстоятельный, а легкий, неверный, быстро исчезающий под лучами робкого солнца, которое нет-нет, а прорывалось в прорехи между облаками. Вот от чего вчера весь вечер ломало кости и обручем сдавливало голову – может быть, вовсе не из-за смерти Мишеля, а просто из-за скопившегося в небе снега!

После завтрака он с интересом проследил, как Козима записала в дневнике вчерашнее ночное происшествие:

„...мы очень смеялись, потому что вчера Рихард так перевозбудился за работой, что, когда я пошла спать, зачем-то спустился вниз в салон. Через какое-то время я проснулась и, обнаружив, что его нет, принялась беспокоиться. Я вылезла из постели и потихоньку спустилась по лестнице – в салоне горел свет, а он сидел под лампой и спал в кресле, держа в руках раскрытую книгу Шлегеля „Греки и римляне“. Успокоенная, я не стала его будить и ушла к себе, а он вскоре проснулся и тоже поднялся наверх. Утром мы очень смеялись над его рассеянностью.“

„Слава Богу, пускай смеется!“ – с облегчением вздохнул Рихард, хотя запись Козимы не убедила его, будто она сама верит в то, что написала. Она ведь вела дневник для увековечения его славы, а не для откровенного разговора с потомками, и некоторые ее записи были сделаны скорей для сокрытия правды, чем для ее выявления. Однако он не стал развивать эту тему вслух, а пожаловался на головную боль и объявил, что намерен идти гулять. Козима всполошилась, – по ее мнению, прогулка в такую погоду грозила ему смертельной простудой. Но он уперся, настаивая, что ему надо прочистить мозги, а это удается только при прогулке быстрым шагом. Она нехотя уступила, при одном условии, что он наденет боты, чтобы не промочить ноги. „Выгляни, там все та-ет“, – настойчиво повторяла она, пока он не согласился. Бог с ней, боты, так боты, лишь бы отстала и выпустила из дому!

Напялив боты и замотав горло мохнатым шарфом, он наконец вырвался на свободу в белую тишину королевского парка. Там остро пахло мокрым снегом, который предательски таял под бота-

ми, но все еще нераскаянно прикинул к голым веткам кленов, больше подчеркивая, чем скрывая их наготу. Оставляя за собой черную цепочку следов, быстро расплывющихся на белом, Рихард пошел вглубь парка, проворачивая в голове многослойный фарш нерешенных проблем.

В первую очередь нужно было срочно сообразить, что делать с унесенными вчера ночью документами. Он, правда, перед завтраком умудрился спрятать их среди бумаг у себя в кабинете, четко сознавая, что это не выход, а всего лишь кратковременная отсрочка. Кабинет был местом более или менее священным, вряд ли Козима пойдет туда на разведку, но отсутствие бумаг в секретном ящичке она может заметить в любую минуту.

Кроме того нужно было правильно преподнести ей сюжет с посылкой и выбрать удобную ситуацию, чтобы предъявить какую-то часть присланных Джудит вещей, не вызывая подозрения, что они присланы Джудит. Можно не сомневаться, что Козима уже порылась в шкафу у него в гардеробной и нашла висящие там новые халаты. Зато есть надежда, что она все же не обнаружила новые сорочки, не отличив их от старых, которых у него без числа, – он постарался разложить их так, чтобы они не бросались в глаза. Значит, объяснять придется только халаты, а это несложно, – Козима давно смирилась с его страстью к роскошной домашней одежде. И особый сюжет ему, собственно, незачем сочинять – ловкач Шнаппауф так наострился переадресовывать посылки от Джудит, что и комар носа не подточит. Да и сам Рихард за эти полтора года тоже научился кое-каким хитростям. Например, перед Рождеством он попросил Джудит добыть для Козимы японское кимоно невиданной красоты, а потом прислать его прямой посылкой к ним в Винфрид вместе с ароматическими маслами и кружевами, купленными для него. Козима была в восторге от этого подарка и долго расхваливала Джудит за внимание к ним обоим. Хотя, если слух его не подвел, расхваливала слишком громко, так что он усомнился в ее искренности.

Ах, Козима, Козима, верная и на все для него готовая, но твердая, как камень, когда дело доходит до решительной точки. И переписка с Джудит может оказаться такой решительной точкой, если Козима о ней узнает. А его чутье последнее время то и дело

подсказывает, что она о чем-то догадывается и исподтишка наблюдает. Не пришла ли уже пора покаяться и все ей рассказать, прежде чем она придет к нему с разоблачениями?

Рихард остановился у мостика, переброшенного через канал, соединяющий два овальных озера. Сегодня тут еще никто не проходил, и снег на выгнутой спинке мостика лежал пушистый и нетронутый, но готовый превратиться в грязное месиво от первого прикосновения. Рихард сделал шаг, за ним другой, третий и, обернувшись, поглядел на оставленные его ботами черные провалы, быстро заполняющиеся талой водой. А вот внутри, в ботах, было тепло и сухо – Козима, как всегда, была права, заставив его натянуть эту стариковскую обувь.

Подул холодный ветер, и тяжелый пласт снега, сорвавшись откуда-то с верхних веток, шумно шлепнулся в озеро, вмиг замутив спокойную гладь воды. Ведь всего секунду назад все вокруг выглядело таким надежным, таким безмятежным, а по сути было так хрупко и уязвимо! Сколько раз с ним уже это случалось – стоило ему найти тихую заводь, обещающую душевный мир, необходимый для его работы, как какие-то злые силы побуждали его собственноручно все разрушить. Он даже почти смирился с тем, что источник этих сил гнездится в его собственной мятежной душе, которой никакая любовь, никакая дружба не могут принести желанный покой.

Но теперь он этого не допустит. Он слишком стар, чтобы рисковать своими отношениями с Козимой – даже ради любви Джудит! Тем более, что он не мог обольщаться настолько, чтобы не понимать истинного характера этой любви. От него ведь не укрылось напряженное выражение ее лица, когда он, исхитрившись остаться с нею наедине в своем кабинете, притянул ее к себе и попытался поцеловать. Она тогда не просто вырвалась, она отшатнулась! И хоть он притворился, что верит ее сбивчивым объяснениям насчет Козимы, которая может вдруг войти и застать, они не обманули его. Он отпустил ее вниз, в зал, где уже, весело переговариваясь, собирались гости, приглашенные отпраздновать завершение второго цикла фестиваля, а сам спустился в гардеробную и зажег свет над большим зеркалом. Из голубоватого овала на него смотрело старое-старое лицо со сморщенной кожей, вяло обвисающей

под подбородком. Он мог понять Джудит, он на ее месте тоже не захотел бы прижаться к такому лицу своими молодыми губами.

Он потихоньку побрел обратно, всматриваясь в вырастающие ему навстречу изящные очертания своего первого в жизни дома. Когда он уходил на прогулку, Козима стояла в дверях и глядела ему вслед. Выражение ее лица было таким же, как в день представления „Валькирий“, когда он пригласил Джудит сидеть с ним рядом во время спектакля. В начале первого действия он потихоньку взял ее маленькую ладонь в свою, наслаждаясь порывистыми перебоями ее пульса в такт его музыке. В тот день он мог бы быть счастлив, если бы в антракте не заметил, что Козимы нет в зале. Он спросил о ней у Франца Листа, рядом с которым она сидела во время увертюры, и тот ответил, что у дочери разболелась голова и она уехала домой. Это означало, что она рассердилась из-за Джудит – он знал, что никакая головная боль не вынудила бы Козиму пропустить представление „Валькирий“! Что ж, у него не было иного выхода – бросив все, он вызвал карету и помчался за ней. В конце концов он уговорил ее вернуться, но день был испорчен.

Похоже, и сейчас у него тоже нет иного выхода – он слишком долго играл с огнем и доигрался. Ему придется уничтожить письма Джудит и покаяться перед Козимой. Остается только надеяться, что Джудит тоже уничтожит его письма, а не станет хранить их для потомства. Впрочем, на это надежды мало – как же ей не похвастаться любовью самого Рихарда Вагнера? Значит, в лучшем случае, можно только надеяться, что она не станет болтать о его любви, пока он жив.

А ей есть чем похвастать! Ведь он порой бывал весьма неосторожен, у него до сих пор где-то валяется обрывок письма, которое ему пришлось перебелить из-за трудностей французской орфографии. Начало еще выглядит довольно прилично:

„Козима все еще полна благодарности и восторга из-за японского платья и других вещей, присланных тобой...“

Но дальше он не сдержался:

„Я был так счастлив видеть на этом пакете адрес, выведенный твоей теплой рукой, которую я сжимал во время представления Нибелунгов. Но что – что? Так уж устроена жизнь! Почему, поче-

му – ради всего святого, – я не встретил тебя в те ужасные дни, когда „Тангейзер“ провалился в Париже? Или ты была тогда слишком молода? Давай не будем говорить об этом, а будем любить друг друга! Любить, любить!“

Конечно, все эти обрывки нужно сжечь, чтобы от них не осталось и следа. Кроме того ему придется хорошенько обдумать ту версию его переписки с Джудит, в которой он покается Козиме, – не может быть и речи, чтобы он рассказал ей всю правду. Скорей всего он представит дело так, будто он просил Джудит покупать ему разные дорогие вещи и стеснялся посвящать Козиму в детали своих расточительных прихотей.

Об этом нужно будет еще подумать, а для начала он сейчас сообщит Козиме о смерти Мишеля – будто бы ему кто-то рассказал во время прогулки. Тогда он сумеет объяснить ей свое мрачное настроение и спокойно изъять хранящуюся у нее за семью замками историю своей жизни, которую она когда-то записала под его диктовку.

Известие о смерти Мишеля Козима восприняла довольно равнодушно и даже не спросила, кто именно ему об этом рассказал. Оно и не удивительно – ведь она не была знакома с Мишелем и знала его только со слов Рихарда. Славное это было время, когда он диктовал ей свои воспоминания! Им было тогда так хорошо вместе! А бедняга король наивно верил, что только ради этих воспоминаний она постоянно живет не со своим мужем в Мюнхене, а с Рихардом в Трибсхене.

Сейчас же, услышав, что он хотел бы перечитать свои воспоминания о дрезденском восстании, которые он надиктовал ей еще в первые годы их жизни в Трибсхене, она удивленно вздернула брови, но без возражений открыла запертый ящик бюро и вручила ему пухлый том, исписанный ее каллиграфическим почерком.

– Хочешь, прочитаем это сегодня вечером вслух? – неловко пошутил он, но она не улыбнулась его шутке, а молча отвернулась и пошла звать детей к обеду. Не оставалось сомнений, что она о чем-то проведала, – значит, ему не следует откладывать покаяние надолго. Может быть, он поговорит с ней об этом завтра, но только не сегодня, сегодня он должен покончить свои счета с Мишелем.“

После этих слов Карл что-то зачеркнул – до полной неразличимости, – и написал:

«Похоже, он начал сдавать. Все смешалось в его памяти – поминки по Мишелю, ненависть к врагам и завистникам, благодарность к Козиме, нежность к Джудит. Но он знал, что сегодня ему следует сосредоточиться на Мишеле, сегодня это самое важное.»

Этот абзац тоже был зачеркнут, но тонко, негусто, словно он был отменен не окончательно, а оставлен для обдумывания. Под ним была начерчена волнистая линия, а под ней:

„Что-то никак не могу нащупать главное, вот и нервничаю. Вообще, непонятно, с чего я так разгорячился, – ведь я терпеть не могу музыку Вагнера. Значит, несет меня какая-то другая, неизвестная мне сила, но уж никак не любовь к объекту. Кто его знает, может быть, из меня и впрямь мог бы получиться писатель? Или профессор каких-нибудь туманных социальных наук, как я врал когда-то бедняжке И. А она, дурочка, внимала, раскрывши рот, и верила каждому моему слову.“

В этом месте Ури вздрогнул, словно его ударило током. Погрузившись в чтение, он как-то отключился от личного момента, и напоминание о роли Карла в жизни Инге поразило его сейчас, как когда-то потрясла ее исповедь с предъявлением листов полицейского розыска в виде вещественного доказательства. Злорадно отметив, что Карл вовсе не был профессором даже сомнительной сравнительной истории, – вот уж воистину туманная социальная наука! – Ури взглянул на часы, не столько для того, чтобы узнать, который час, сколько для восстановления душевного равновесия. Ну и ну! Он даже не заметил, что провел над этим дневником около трех часов. Так и приход дежурного библиотекаря немудрено прозевать – в беззаконном храме читального зала день был неотличим от ночи. Только сейчас Ури почувствовал, как ему хочется спать, и секунду поколебался, что делать дальше – вздремнуть или продолжить чтение. Нет, решил он, задремать опасно, вполне можно проспать открытие читального зала, лучше уж читать.

„Черт его знает, может, я и впрямь погубил свою жизнь, как сказал мне во время процесса прокурор, изображая на своей самодовольно сытой морде несоответствующее его свирепости сочувствие. Женился бы на И. и плодил бы с ней детей в каком-нибудь цветущем университетском городке, вроде Гейдельберга. И подох бы там со скуки, или запил бы мертвую от беспросветности мещанского благополучия среди надраенных до блеска паркетов, на которые нельзя даже плюнуть, не то что насрать. Но я не поддался на приманку мирной жизни и был за это вознагражден. Трудно передать восторг, который я испытывал, когда на всех телеэкранах мира появлялись леденящие душу картинки летящих под откос поездов и взорванных автомобилей! Когда дикторы, захлебываясь от возбуждения, на разных языках докладывали об осуществлении моих прошлых замыслов и соревновались в предсказании будущих, мне довелось испытать минуты такого блаженства, какие даже не снились мирному человеку из университетского городка.

И это роднит меня с героями вагнеровских драм, хоть сами эти драмы нагоняют на меня беспробудную скуку. Мы, рожденные от предков, тосковавших по солнцу в сумрачных германских лесах, можем ощущать истинный вкус жизни только на острие ножа, на грани гибели, на краю пропасти. Еврейская душа Вагнера восторженно млела перед нашей арийской неспособностью к мещанскому прозябанию, и потому он сумел выразить и ублажить нас, как никто другой. За что и получил фестиваль в Байройте и всемирную славу.

Конечно, в моей версии многое требует объяснения, но, к счастью, у меня нет обязательств ни перед литературными критиками, ни перед представителями разгневанной общественности. Даже более того – общественность все равно разгневана, так что небольшая добавочная капля озорства уже не переполнит этот стакан. И я могу позволить себе любое оскорбление устоявшихся представлений – меня не накажут больше, чем уже наказали. А насчет того, что Вагнер наполовину еврей, у меня, кроме слов Ницше, за которые Вагнеры с ним навеки рассорились, есть любопытное физиономическое свидетельство, добросовестно откопанное мною в тягомотные часы тюремного безделья.

Передо мной на одной странице расположены два портрета, любезно сфотокопированные по моей просьбе одним из моих ангелов-хранителей. На одном – Рихард Вагнер собственной персоной, сфотографированный где-то на склоне лет, когда он уже достиг признания и земного благополучия. На другом – его отчим, художник Людвиг Гейер, который умер молодым, предварительно женившись на овдовевшей матери Рихарда, когда младенец еще не достиг и полугода. Сходство этих двух людей поражает воображение, – разница между ними только в возрасте, все остальное неотличимо: глаза, нос, складка губ, овал лица. И не меньше поражает имя отчима – ведь многие немецкие евреи носили имена городов, а неподалеку от Дрездена, где родился Вагнер, есть городок Гейер. Да и сам Рихард до тринадцати лет носил фамилию Гейер, так что, если б какая-то нужда не заставила его сменить ее на Вагнер, создателем новой немецкой оперы был бы Рихард Гейер.

И становится понятным непостижимый антисемитизм Вагнера – он всего-навсего хотел „откреститься“ от своего еврейского происхождения, что, в конце концов, желание вполне прост...».

На этом обрывке слова закончилась вторая порция листков из красной тетради. Ури взялся за третью, она была написана мельче и тесней, – может быть, Карл боялся, что ему не хватит оставшихся в тетради страниц?

«Сразу после обеда он сунул том воспоминаний подмышку и поднялся к себе в кабинет. Там он прилег на диван и начал бегло перелистывать красиво переплетенные в кожу страницы, пока не наткнулся на забавную запись:

....однажды я пригласил Мишеля на ужин к себе домой. Моя жена Минна разложила на тарелках тонко нарезанные ломтики колбас и копченого мяса, но он и не подумал есть их так, как это принято у нас, аккуратно накладывая на хлеб. Он сгреб в горсть все, разложенное на тарелках, и единым духом отправил в рот. Заметив испуг Минны, он заверил ее, что ему вполне достаточно того, что он съел, просто он любит есть по-своему.»

Дальше шел абзац о том, что Мишель всегда ходил в черном

концертном фраке, утверждая, что у него нет денег на покупку чего-то более подходящего. И никто не мог ссудить ему что-нибудь из своего гардероба, – он был такой огромный, что любая одежда с чужого плеча была бы ему мала. Рихард перевернул страницу и поморщился – истории про колбасу и про фрак были более или менее правдивы, хоть нигде не было сказано, что той дрезденской весной, перед самым восстанием, Рихард был безумно влюблен в Мишеля и очарованно следовал за ним повсюду, как собачка на сворке. Зато большая часть того, что шло дальше, было сплошным враньем. Все-все, даже продолжение рассказа про фрак. Когда Рихард излагал Козиме приходившие ему на ум события тех далеких дней, он сразу четко отбрасывал то, что могло испортить его отношения с королем Людвигом, по заказу которого эти воспоминания, собственно, и были написаны. При этом кое-что приходилось не только скрывать, но и изрядно переиначивать.

Запись от 3-го мая – это был третий день восстания, – начиналась с того, что Рихард неожиданно увидел могучую фигуру Мишеля, который, дымя сигарой и не замечая неуместности своего концертного фрака, бродил по Альтмаркту, с любопытством разглядывая баррикады. А на самом деле накануне вечером Рихард долго уговаривал Мишеля прийти на Альтмаркт и все утро его ждал, а тот все не шел, так что ко времени его прихода Рихард уже отчаялся его увидеть. Хоть Мишель считал всю их революционную затею мелкотравчатой и буржуазной, Рихард все равно жаждал, чтобы Мишель увидел его среди борцов на баррикадах – он давно понял, что тот ценит только разрушителей, людей действия и отваги. Но Мишель и не подумал восхищаться героизмом Рихарда и его соратников. Презрительно усмехаясь, он указал на детскую неэффективность всех мер, принятых восставшими для защиты от прусских войск, и объявил, что лично он не склонен принимать участие в таком любительском спектакле.

Рихард бегло просмотрел записи за решающие для восстания дни, 4-е и 5-е мая, когда передовые части прусской армии бесконечным потоком втекали в пригороды Дрездена. В воспоминаниях как-то само собой выходило, что к этому времени Мишель уже оказался в центре событий и стал главным советником временного правительства по всем вопросам воинской стратегии.

Ни слова только не было сказано о том, что за день до этого именно Рихард почти насильно притащил его в городскую ратушу, где заседали руководители восстания. Он хотел, чтобы Мишель как специалист высказал им свои претензии и посоветовал, как теперь быть. Мишель выслушал сбивчивые мечтания членов правительства о преимуществах мирного урегулирования и силой жесткой логики убедил их, что на это нет ни малейшей надежды.

Оставался единственный вариант – организовать так, чтобы противопоставить пруссакам собственную военную мощь высокого качества. И при этом выяснилось, что никто, кроме Мишеля, понятия не имеет, как к такой организации приступить. А Мишель уже забыл о своем презрении к их мелкотравчатому мятежу, – его, как всегда, увлекла сама стихия революционной динамики: треск выстрелов, запах пороха и вкус опасности.

Все предшествующие восстанию недели он жил в странном полусне, – с кем-то встречался, о чем-то спорил, что-то доказывал, но душа его при сем не присутствовала. Отравленная глубокой печалью, она неустанно возвращалась к тем счастливым минутам на баррикадах Парижа, когда он окрылял толпу своим вдохновенным бесстрашием. Только такая жизнь имела смысл, всякая другая была тусклым прозябанием, не стоящим затраченных усилий...»

После этих слов перо Карла снова прочертило длинную линию с извилистым загибом и побежало дальше – крупнее, поспешней и словно бы вдохновенней:

„Что за чушь! Ведь в этом абзаце про Мишеля я, сам того не заметив, приписал Вагнеру свои мысли. А впрочем, наверно он думал о чем-то подобном, прозревая душевные побуждения своего свободного от страха Зигфрида, хоть тот был во всем ему чужд и именно тем восхитителен. В этом отчужденном восхищении, пожалуй, и зарыт секрет очарования всей романтической вагнеровской галиматши, воспевающей неосмотрительных, но отважных героев, всегда готовых погибнуть и обязательно в конце концов погибающих.“

Потом шел пробел, за ним несколько зачеркнутых строк, потом опять пробел и новый абзац, начинающийся посреди фразы:

«...пруссаки все тесней сжимали кольцо. Они очень хитро придумали уклоняться от уличных боев, где им пришлось бы атаковать баррикады, – они захватывали дом и пробивали стены в соседний, продвигаясь таким образом не по улице, а внутри домов. Бесплезные баррикады, похожие на мусорные свалки, немим укором высились вокруг пепелища оперного театра, где все еще дымились остывающие угли. Несмолкаемый грохот больших и малых орудий безжалостно долбил по мозгам, вызывая головную боль. В ратуше царила паника, все члены временного правительства, кроме Хюбнера, разбежались кто куда в надежде избежать расплаты.

И Рихарду стало страшно.

Он не мог контролировать этот страх, руки дрожали, глаза застилала влажная пелена, все тело обсыпало потом. Он предчувствовал, что вот-вот появится красная нервная сыпь – подмышками и в паху уже начинался нестерпимый зуд. Он помчался домой, в тихий пригород Фридрихштадт, где его ожидала испуганная Минна. Но добраться до дома было не так-то просто, – все дороги были перекрыты наступающей лавиной прусских войск. С трудом переваливаясь через заросшие колючками изгороди и пробираясь задами по извилистым тропкам, знакомым ему по его бесчисленным одиноким прогулкам, Рихард вдруг остро осознал, что больше никогда не вернется в эти края. Битва была проиграна, даже не начавшись, впереди маячил разгром, тюрьма, а возможно, даже и гибель.

Но он еще не был готов к уходу из этого мира, его жизнь не принадлежала ему, – еще не созданные, но уже оплодотворенные его гением замыслы толпились на пороге его души, стремясь вырваться наружу. Его святой обязанностью было доносить их и дать им выйти в свет. А значит, он должен был беречь себя.

План его был прост, он так и написал в своих воспоминаниях: „Внутренним взором я увидел, как пруссаки входят в наш пригород, и живо представил себе все ужасы военной оккупации. Когда я наконец добрался до своего дома, мне без труда удалось убедить Минну собрать кое-какие пожитки и уехать со мной в Хемниц, где жила моя замужняя сестра Клара. Захватив с собой зеленого попугая и песика Пепса, мы отправились в путь на дребезжащей деревенской повозке, которую мне чудом удалось нанять. Был

дивный весенний день. Но сладкозвучное пение жаворонков в бескрайней высоте небес то и дело заглушалось непрекращающимся ревом канонады, которая потом еще много дней отдавалась у меня в ушах“.

Рихард в который раз подивился собственной уклончивости – он так подробно описал попугая, песика Пепса и жаворонков, поющих в бескрайней высоте небес, но ни словом не упомянул того, за кем была замужем его сестра Клара. А ведь именно муж Клары, неупомянутый заместитель начальника полиции Хемница, и был главным героем драмы, развернувшейся в последние дни восстания.

Так живо, словно это было вчера, он представил себе аккуратную кухню Клары с веселыми розовыми геранями на окнах, задернутых накрахмаленными занавесками, – куда вывел его зять, пока женщины оживленно хлопотали в гостевой комнате, устраивая постель для него и Минны.

– Послушай, – сказал зять, собирая свой бабий рот в маленький тугой узелок, который они в детстве называли „куриная гузка“. – Ты что, там у себя в Дрездене, сильно замешан в этих беспорядках?

Сердце Рихарда екнуло – выражение лица зятя не предвещало ничего хорошего.

– С чего ты взял? – слабым голосом спросил он, как бы не отрицаясь, но и не подтверждая.

– А с того, что готовится приказ о твоём аресте.

– О моем? – бледнея губами переспросил Рихард.

– Не только о твоём, конечно, – утешил его зять, – а всей вашей дружной компании. Всего вашего никудышнего правительства – и твоего дружка из оперы, и фрайбергского бейлифа Хюбнера, и твоего русского медведя, который незнамо зачем полез в чужие дела.

У Рихарда слова застряли в горле, но зять и не ждал его ответа.

– Да и ты зачем полез, я тоже в толк не возьму, – продолжал он, и Рихард вдруг в первый раз за много лет знакомства заметил, как шевелятся его волосатые уши, когда он произносит букву „Е“. – Такой город разорили, оперный театр сожгли, столетние деревья порубили на свои баррикады, а для чего? Чтобы после первого

же выстрела разбежаться? Не начинали бы, раз воевать не умеете. Честно говоря, я бы не возражал сгноить тебя в тюрьме за твои проделки, да Клара мне жить не дает, все плачет, чтобы я тебя выручил.

Рихард облизал внезапно пересохшие губы:

– А если я сейчас уеду? Прямо отсюда, из Хемница? В Веймар, например, – там Лист готовит постановку моего „Лознгринга“, а?

Зять сверкнул на него белесыми глазами – откуда в этих блеклых глазах могла вспыхнуть такая жаркая искра?

– Раньше надо было думать. Тебя схватят на границе, на каждой пограничной станции есть твоё описание.

– Что же мне делать? – прошептал Рихард непослушным, заледеневшим вдруг языком.

– Я бы мог вывезти тебя в своей коляске, – начал зять и замолчал, давая время этим словам проникнуть в душу Рихарда вместе с непроизнесенным, но явно услышанным „но“.

– ...но? – продолжил за него Рихард.

– ...но я не могу это сделать без твоей помощи.

– Чем же я могу тебе помочь? – спросил Рихард, предчувствуя недоброе.

– Ты можешь помочь мне арестовать твоих дружков, – отрубил зять без обиняков и быстро добавил, не желая слушать возражения шурина. – Им уже не спастись, поверь мне, их все равно схватят, не сегодня, так завтра, – почему бы не сделать это моей заслугой? Подкинь их мне – и считай, что ты уже в Веймаре.

– Но как же я?.. Ведь нельзя же! Ведь мне не простят... – ужасаясь, залепетал Рихард, заплетаясь языком о непослушные слова.

– Да кто узнает? Мы обделаем это дельце шито-крыто. Ты только не болтай, и все будет в порядке.

И тут Рихард заплакал, – он вообще был скор на слезы, от счастья ли, от страданья, все равно. Бросив взгляд на его залитое слезами лицо, зять безошибочно поставил диагноз:

– Значит, договорились? – и, заслышав шаги приближающихся женщин, поспешно заключил: – Ты завтра утром отправляйся в Дрезден, а я послезавтра с утра поеду во Флеху и буду ждать тебя в трактире „Голубой барабан.“ Это как раз на полпути от Фрайберга, так что тебе не придется мотаться слишком далеко.

Услышав, что Рихард намеревается вернуться в Дрезден, жена и сестра так дружно зарыдали, что Рихард нерешительно заглянул зятю в глаза – а вдруг тот передумает и позволит остаться? Но зять в ответ непреклонно повел головой вправо-влево – мол, выхода нет, надо ехать.

Рихард полистал воспоминания:

„Узнав, что я собираюсь обратно в Дрезден, все мои родные и близкие пришли в ужас.“

Это по сути была чистая правда, потому что он едва ли мог отнести к числу родных и близких своего полицейского зятя с волосатыми ушами и куриной гузкой вместо рта. И дальше тоже было написано почти правдиво:

„Несмотря на все их попытки отговорить меня, я был тверд в своем решении отправиться в обратный путь, хоть подозревал, что по дороге встречу нашу боевую армию, в растерянности бегущую с поля боя. Но чем ближе к Дрездену, тем яснее становилось, что там еще тверды в намерении сражаться, а не отступать... Все дороги были перекрыты, так что в город можно было пробраться только окольными путями. Когда я наконец добрался к вечеру до дрезденской ратуши, я был потрясен открывшимся мне ужасным зрелищем: на площади перед ратушей горели маленькие костры, то тут, то там выхватывая из сумрака бледные лица смертельно усталых людей, простертых прямо на холодных камнях. Но даже эта печальная картина померкла, когда я проник в ратушу, - там царили паника и смятение. Разве что Хюбнер сохранял еще какую-то способность к действию, но мне показалось, что лихорадочный огонь, полыхающий в его глазах, постепенно сжигает его изнутри. И только Мишель был спокоен и невозмутим, как всегда, хоть не спал уже несколько ночей...“

Рихард резко захлопнул тщательно переплетенный Козимой том. Никто никогда не узнает, какой болью наполнилось его сердце при виде Мишеля, которого он был обречен предать. Но было еще не поздно, Мишель еще мог удрать и затеряться в царящей вокруг суматохе – еще не всюду было оцеплено, не все границы перекрыты. И Рихард не поспешил на красивые слова, пытаясь убедить друга бросить все и скрыться – в конце концов, это была не его страна, не его революция. Но не такой это был человек,

чтобы искать спасения в бегстве. За то и любил его Рихард, за то и любил.

Тогда Рихард обратился к Хюбнеру – не как к главе временного правительства, а как к единственному человеку, способному повлиять на Мишеля. Глядя в его лихорадочно горящие глаза, в которых отчаянная решимость пересиливала страх, Рихард видел, как трудно Хюбнеру сосредоточиться, но тот все же взял себя в руки и заставил себя вслушаться в его слова. Осознав, что речь идет о судьбе Мишеля, Хюбнер на миг задумался, а потом, резко повернувшись на каблуках, молча направился по коридору в одну из комнат ратуши. Рихард побежал вслед за ним и успел проскользнуть в дверь, прежде чем она закрылась. В комнате не было никакой мебели, кроме брошенного на пол старого матраса, на котором полулежал Мишель.

Рихард полистал рукопись и нашел страницу, на которой он пересказал разговор Хюбнера с Мишелем – он передал этот разговор весьма точно, если не считать того, что время и обстоятельства были слегка подтасованы. На прямой вопрос Хюбнера о целях его участия в восстании Мишель

....кратко пояснил, что у него нет никаких идей о форме нашего правительства и никакой заинтересованности в уличных боях в Дрездене в частности и в Германии вообще. Единственно, что вдохновляет его принимать участие в нашей исключительно глупой затее, это благородство и храбрость самого Хюбнера, которого предали почти все его бывшие соратники. И теперь, единожды приняв решение посвятить свою дружбу и верность столь самоотверженному человеку, он, Мишель, намерен идти с ним до конца, сколь бы трагичен ни был этот конец."

Слегка задетый восторженным отношением Мишеля к Хюбнеру Рихард понял, что спасти Мишеля невозможно, потому что тот ищет гибели. И словно в подтверждение этой мысли Мишель объявил, что, невзирая на полную безнадежность их положения, Хюбнер не имеет права приказывать людям мирно разойтись по домам – как в таком случае оправдать сотни жизней, уже отданных во имя восстания? И Хюбнер подчинился воле Мишеля – он отдал приказ всем войскам временного правительства начать отступление во Фрайберг.

Рихард не стал перечитывать все свои выдумки, описывающие следующий день, когда он нанял коляску с кучером и один отправился во Фрайберг. Он понимал, что какого-нибудь дотошного читателя этих страниц мог бы заинтересовать вопрос, зачем ему понадобилось встать ни свет, ни заря и, опережая других, помчаться во Фрайберг. Однако утешало, что каким бы дотошным ни был этот читатель, он не смог бы проследить путь Рихарда в трактир „Голубой барабан“ во Флехе. Но, к сожалению, он заметил и другие несовершенные записи, сквозь строки которых ложь проступала более явно.

Пожалуй, хуже всего выглядела сцена встречи Хюбнера и Мишеля с группой гвардейцев из Хемница, которые убедили их, что в Хемнице их ждут многочисленные соратники, готовые присоединиться к восстанию. Рихард наполнил эту сцену множеством избыточных подробностей, которые, не имея прямого отношения к делу, должны были подтвердить правдивость его рассказа.

„Мы своими глазами видели гвардейцев из Хемница, расположившихся на привал на склоне холма недалеко от дороги. Они послали своих представителей выяснить у Хюбнера, как обстоят дела. Получив от нас информацию о том, что революционные войска, отступив из Дрездена, по-прежнему тверды в своем намерении воевать до последней капли крови, они пригласили временное правительство расквартировать свою армию в Хемнице. Сразу после этого они вернулись к своему отряду и на наших глазах тронулись в обратный путь в Хемниц.“

Сейчас он увидел, что именно эта сцена может его разоблачить – она была составлена неловко, явно в расчете на продолжение, которое бросалось в глаза на следующей странице:

„Мой зять-полицейский неохотно рассказал мне, что гвардейцы Хемница никогда не были на стороне восставших и отправились в Дрезден против своей воли с единственной целью - перейти во время боя на сторону пруссаков. Встретив по дороге Хюбнера, отступающего из Дрездена, они уговорили его расквартировать свои войска в Хемнице и заманили его в ловушку. Вернувшись к себе, они силой заставили городскую стражу покинуть свои посты у ворот и заняли их места, готовые арестовать временное правительство сразу по его прибытии в Хемниц“.

Рихард поморщился – если хотели арестовать сразу, так почему не арестовали, а дали добраться до отеля и лечь спать, как он сам рассказал двумя абзацами раньше? А он куда глядел, что не заметил этого несоответствия, когда диктовал эти страницы Козиме?

Но ведь это было так давно, двенадцать лет назад. Откуда ему было тогда знать, что Мишель, измученный семилетним одиночным заключением в страшном подземелье петербургской крепости, разразится покаянной „Исповедью“, в которой подробно опишет все обстоятельства, предшествовавшие его аресту? Откуда ему было знать, что Мишель черным по белому напишет, что именно он, Вагнер, уговорил их с Хюбнером ехать в Хемниц?“

Этот абзац был заключен в жирный черный круг, а на полях рядом с ним было написано:

„Похоже, я слегка зарапортовался. Вагнер и впрямь не мог ничего знать об „Исповеди“ Мишеля. Он ведь не сидел в тюрьме демократической Германии на исходе либерального XX века, где многочисленные исполнительные тюремщики снабжали бы его лучшими книгами из лучших библиотек. Он, бедняга, скорей всего даже не подозревал, что его возлюбленный Мишель написал эту покаянную „Исповедь“ – она тогда хранилась у русского царя, и ее никто не собирался публиковать. Так что придется этот абзац переделать, да что-то неохота. Все-таки было бы неплохо иметь разумного собеседника, с которым хоть иногда можно было бы перекинуться парой слов, – мой болван-сосед для этого абсолютно не подходит. Впрочем, для меня неважно, что Вагнер не читал „Исповедь“, важно, что я ее читал.“

«...Когда он снял тяжелую голову Мишеля со своего затекшего плеча и выскользнул на затопленную повстанцами улицу, он был очень озабочен тем, как бы не приехать в Хемниц до того, как зять арестует Хюбнера и Мишеля. Нужно было не просто приехать после их ареста, а зарегистрировать это в памяти надежных свидетелей, чтобы и вопрос не возник о его участии в этом грязном деле. Для этого он сразу помчался на почту и нанял на целый день

хорошую коляску с кучером. Коляска с кучером стояла целое состояние, но он никогда не жалел денег на важное и перво-степенное. Потом он попросил кучера въехать в тихий тупичок, расположенный в противоположной выезде на Хемниц части Фрайберга. И побежал следить за тем, как развиваются события.

То, что случилось тогда, описано слишком подробно, причем придумано все неумело, неловко, до конца не додумано и записано с прорехами, которые прямо просятся под сомнение:

„Хюбнер отдал войскам приказ выступить в Хемниц сразу после обеда. Услышав это, я сказал Хюбнеру, что поеду раньше и встречу с ними в Хемнице завтра утром - мне вдруг захотелось сбежать из этого хаоса и побыть одному. Мне повезло, и я занял место в почтовой карете, которая по расписанию должна была немедленно отправиться в Хемниц. Но сразу по выезде мы попали в ужасный людской водоворот, потому что вся дорога была запружена революционной армией, которая тронулась в путь. Ждать пришлось очень долго, и я стал наблюдать за шагающими мимо патриотами. Особо привлек мое внимание Вогтландский полк, марширующий традиционным шагом под барабанный бой, сильно украшенный тем, что барабанщик для разнообразия бил палочками не только по натянутой коже, но и по деревянной раме барабана. Мучительный перестук палочек барабанщика напомнил мне перестук костей болтающихся на виселице скелетов, который Берлиоз со страшным реализмом воспроизвел в финале Фантастической симфонии“.

Все эти неуместные подробности были продиктованы им для отвода глаз, чтобы никто не усомнился, что он и впрямь сидел в той почтовой карете, застрявшей в пробке по пути в Хемниц. Но ведь ему нужно было еще раз отметить в Фрайберге, чтобы жене Хюбнера стало ясно, что он еще не добрался до Хемница. И он стал сочинять новые подробности, ему самому теперь выглядящие странно:

„Внезапно меня охватило страстное желание повидать своих друзей, которых я зачем-то покинул, и отправиться в Хемниц вместе с ними. Я выскочил из кареты и побежал в ратушу, но там их не было. Тогда я поспешил к дому Хюбнера, где меня встретили сообщением, что он спит. После чего я вернулся к

своей почтовой карете, чтобы еще раз убедиться, что она по-прежнему не может тронуться с места из-за запрудивших дорогу войск”.

Господи, какая несуразица! Так и бьет в глаза, что тут один кусок не стыкуется с другим – сперва решил отбыть в одиночестве, а потом зачем-то побежал в ратушу и домой к Хюбнеру. Но уж раз решил ехать вместе с друзьями, так дождался бы, пока они проснутся, зачем было возвращаться к карете, если войска продолжали выходить из города?

„Некоторое время я нервно метался по улицам, а потом, отчаявшись уехать в карете, опять помчался к дому Хюбнера, в надежде, что он возьмет меня с собой. Но Хюбнер и Бакунин уже отбыли, и я, как ни старался, не смог их догнать.“

Надо же, Хюбнер с Бакуниным уже отбыли, несмотря на запруженную дорогу, а Рихард, бедняжка, застрял в этом проклятом Фрайберге и ни с места! Да кто в это поверит, если только даст себе труд прочесть?

„Так что мне не оставалось ничего другого, как вернуться к почтовой карете, которая наконец получила возможность тронуться в путь. После различных задержек и приключений я где-то поздно ночью прибыл в Хемниц. Там я снял комнату в первой попавшейся гостинице и заснул, как убитый.“

В пять утра я после нескольких часов сна вскочил с постели и поспешил к дому своего зятя Вольфрама, который был в пятнадцати минутах быстрой ходьбы.“

Тут Рихарду стало совсем не по себе – зачем, спрашивается, понадобилось ему ночевать в отеле, если дом зятя, где его в волнении ожидали жена и сестра, находился всего в пятнадцати минутах быстрой ходьбы?

Видно, очень уж взбаламучена была его душа, когда писались эти строки – и тайной, которую надо было скрыть, и заботой о том, чтобы король не прознал про Козиму, а Козима про короля. Ну что он мог поделать со своей судьбой, которая никогда его не щадила? Хоть удачи, хоть беды она всегда насылала на него скопом, так что руками не раскидать. А он не сдавался, старался выстоять, не рухнуть, ну, и ошибался иногда, – что тут поделаешь, все ошибаются. И исправить ничего нельзя – несколько лет назад

Козима красиво переплела два десятка копий этих воспоминаний и разослала всем друзьям и родным на хранение. Так что Боже упаси что-то переделывать – только внимание привлечь!

А может, все не так страшно? В конце концов он сейчас человек знаменитый, прославленный, а суда над ним никогда не было, ведь он всех перехитрил и в 1858 не согласился на суд, хоть за это ему было обещано разрешение вернуться в Германию. А он предпочел еще много лет оставаться бездомным скитальцем, но не позволил следователям копаться в подробностях своего участия в восстании, а главное, – в подробностях своего бегства за границу. Эту часть он продиктовал Козиме мудро и скромно:

„Рассказывая мне про арест Хюбнера и Бакунина, зять сказал, что он очень обеспокоен моей судьбой, так как предатели-гвардейцы упоминали мое имя, утверждая, что видели меня под Фрайбергом в обществе мятежников. Зять считал, что меня спасло само Провидение, – ведь если бы я прибыл в Хемниц вместе со своими друзьями и оказался в одной гостинице с ними, меня бы наверняка тоже схватили. При этих словах меня, словно молния, озарило воспоминание о том, как в студенческие годы я чудом избежал верной смерти во время дуэли с самым искусным фехтовальщиком нашего курса, и я на миг лишился речи от волнения. Видя мое состояние, зять внял мольбам моей обезумевшей от страха жены и согласился ночью вывезти меня в Альтенбург в своей полицейской коляске. Дальше все уже было просто – в почтовой карете я добрался до Веймара, где меня встретил мой друг Франц Лист“.

Эти слова были подчеркнуты двойной чертой, а под чертой шел не поддающийся прочтению абзац из пяти строк. Нечленораздельный абзац завершался обрывком фразы, который Ури все же удалось расшифровать:

„...мую суть предательства...“

После этого обрывка шла пустая страница, перевернув которую Ури нашел одну-единственную запись:

«Странно, но на свободе мне что-то совсем не пишется. Впрочем, можно ли назвать свободой заточение в полуразрушенном замке в обществе злобного инвалида и доброжелательного идиота? Что же касается моей зачарованной красавицы, то она стала раздражать меня все больше и больше... И я ее, кажется, тоже.»

Нина Воронель

Ведьма и **П**арашютист

(роман)

Хотите ли вы опять, как в детстве, испытать захватывающее чувство вовлеченности в чужую жизнь? Израильский парашютист, роковая женщина, таинственный злодей, средневековый замок, европейская интеллектуальная элита... и убийство.

464 стр., цветная обложка.

„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

Цена: 39 изр. шек.

(19 DM для Европы, \$15.5 для США, включая пересылку).

СДЕЛАЙ САМ

У Базиного отца была репутация. К нему приходили советовать-ся. „Немцы? Да это же культурный народ!“ Себе он насоветовал остаться: придут и возвратят ему фабрику.

Его убили в первом погроме. Базе и Изе осталось жить до второго. Что же делать? Надо жить. Ели, спали. Вот только смерть наблюдала за ними.

Изя торопился дожить до старости. В ночь перед убийством он решил не спать и стал жить совсем уж торопливо. Он ласкался к матери, девятилетний, избалованный. Молился про себя, не раздумывая, откуда он знает о молитвах. Кипятил чай. Керосину в керосинке было больше, чем той жизни в них.

Мать сидела, обхватив руками живот. Она была на шестом месяце. Мысль о смерти далеко не отлучалась: вернется и сообщит: девочка уже знает обо всем – испугана! Базя и сама догадывалась, что носит девочку. Она стала успокаивать еще не родившегося ребенка: она что-нибудь придумает.

Тут же и придумалось. Базя стала копить в себе решимость. Подозвала сына и стала гладить его голову. Он понял. Может, рано он начал приближать старость?

Кое с какими вещами пришли они туда, куда велено было им прийти, и стали ждать вместе со всеми. Город вперялся в них через окна глазами детей и взрослых. Изя взял и помахал рукой девочке, которая все никак не могла оторвать от него глаз. Прощальный его жест был стариковским: дожил-таки!

Высокий позавтракавший немец шел дволь колонны. Колонна

отшатывалась от его забот, но ни у кого не было сил протестовать, даже мысленно. Базя стала ему кричать по-еврейски, что она на шестом месяце... Ее нельзя убивать! Нечеловеческие усилия! И все же прошение было отправлено.

Немец продолжал двигаться. Перемены в его шаге мог подметить только очень заинтересованный глаз: „Услышал!“ В это нужно было поверить!

Он откликнулся в поле. Кричал, похожий на хозяина, отыскивающего свою телочку: „Кто тут беременная?“ Базя дернула за руку сына, и они вытиснулись из колонны. Он показал им рукой, куда они должны уходить.

Колонна вцепилась в них взглядами. Они спотыкались, мать бранила сына за нерасторопность, девочка несколько раз понукала их кулачком.

Еще до того, как подошли они к лесу, услышали они выстрелы. Крики глохли где-то в поле, но были страшнее звучащих, а им предстояли трудные годы усилий, страха и унижений. Может быть, было все это страшней смерти, но выбор уже был сделан.

О ней знал любой полицай. Всякое общение с ней было между опасностью и грехом. Старались ее не замечать, но уж если припирало, приходилось выбирать. Случалось, выбирали опасность.

Выпало им прожить несколько неземных дней в стодоле. Людей, приютивших их, Базя заставила увидеть себя: в безумной расчетливости отодвигала крышку колодца, другой рукой придерживая девочку у груди. „То поживить трохи“. Им приносили поесть. В эти благостные дни Хануся впервые улыбнулась. Мать запричитала. Сын со стариковской умудренностью объяснил: „Твое молоко стало вкусней от этого хлеба“, Еще бы! Хлеб этот хорошо пропитывался слюной и проглатывался с неизъяснимым наслаждением, от которого на лбу проступала испарина.

Когда темнело, он выходил во двор побродить. Он знал, что за плетнем двор полицая, но такого какого-то, что не донесет. Однажды к ногам его упали три картофелины в газетной обертке. Стукнулись недобро, но оказались теплыми и вкусными. Он все поглядывал за плетень. Бросала девочка. В третий раз она его позвала: „Ось тоби картопелька!“

История эта оборвалась... Еще не успели они съесть картошку, а пришла хозяйка и сообщила: „Немец в сели... То треба вам, титко, кудысь до инших...“

Опять они ушли в лес. Ночевали в скирде на опушке. Хануся плакала надсадно. От ее плача становилось совсем тоскливо. Изя молился. Бог учил его добывать еду. Изя ловил рыбу, собирал ягоды и грибы, откапывал картофельные клубни на убранных огородах. Просил „хлибця“ у людей, чьи глаза казались ему подходящими.

И все продвигались они к румынской зоне, пока не вошли в нее, спасительную.

Изю стали нанимать „богатеи“ вскапывать огород или на другую какую работу. Иногда „богатеями“ были просто немощные старики. Богатеи попадались хорошие и плохие. Хорошие кормили до работы и после, плохие только после. Он научился приворовывать хлеб для сестры. Тогда-то и свыкся он с заботливостью о ней.

Когда был он уже женат, сестра звонила ему, чтобы он пришел и сделал в родительском доме „мужскую“ работу. Ему нравилась всякая работа для Хануси и родителей, плохо было только, что сестра в их отношениях не хотела признавать семейного праздника; была суровой и требовательной: „Вечно тебе напоминать надо!“ Вся в веснушках, в еврейских рыжих кудряшках, имела Хануся проблемы с замужеством из-за некрасивого, тонкогубого лица. Изя страдал, старался заинтересовать Ханусей кого-нибудь из приятелей. Приятели из-за его настойчивости становились насмешливыми, один из них даже головой покачал: никудышный товар! Мать была несчастна дочерней неустроенностью. Плакала, когда Хануси не было дома. От пережитого она впадала в депрессию, неделями лежала лицом к стене: всякое воспоминание о том, как старались они остаться в живых было мучительным. Воспоминаний мужа, вернувшегося с фронта одноногим, она боялась больше, чем своих. Дом не праздновал избавления, хотя, конечно, бывали и просветы.

Смеялись они с плачевными всхлипами. Хануся тонкогубо, незаинтересованно. Вдруг спохватывалась и прятала сови желтые зубы. Наум в просветах рассказывал, как спас его от смерти Федя:

лежа после ампутации, оставшийся без семьи, он вдруг заметался и потянулся к автомату. Федя забрал автомат. Мог ли он, решившийся жить без ног, позволить, чтобы застрелился одноногий? Наум говорил, что ему стыдно перед Федей. Он как-то попытался объяснить, почему ему стыдно, но запутался и чуть не заплакал. Из-за еврейских бед он впадал в неистовство. Раскачивался на костылях. Присакал как-то к соседу-поляку. Он знал, что висит на стене у поляка их довоенный еврейский коврик. Поляк не стал отпираться: „У всех евреев брали „на память“. Он улыбнулся грустно и с издевкой. „Пся крев!“ – закричал Наум. – Пся крев! Почему тебе понадобился коврик из убитого дома?“ – „Не вем“, – ответил поляк раз уж разговор пошел по-польски. Он был парикмахером, за работой размышлял о людях и чаевых. В том, что он взял коврик, не видно было ничего хорошего. Но не видно было и плохого. Так что напрасно еврей так раскачивается.

С костылем Наум набросился на Васыля, парня дочери своей, когда Васыль пришел „до Ганки“ с повинной, узнав, что Хануся беременна. Науму, на беду, только вчера напомнили, как „бандиты эти“ еще при Богдане Хмельницком вспарывали животы беременным еврейкам. Прогнав „бандеру“, Наум прислонил костыли к стене и рассказал кое-что из чужих воспоминаний: как „бандиты эти“ из какой-то деревни под Одессой выходили к дороге, по которой „прогоняли наших“ и обливали их водой в мороз. Когда он рассказывал об этом, у него запеклись губы. Базя стала просить, чтобы он замолчал. „А вот Фасолька“... – хотела она рассказать свое. „Молчи! – закричал Наум. – А то расскажу, как они издевались надо мной на фронте!“

Фасолька был старостой в том селе, где она с детьми дожидалась прихода „наших“. Он опекал „евреечку“. Можно было бы долго размышлять, что он за человек, но Базя видела его глаза: добрый! Хотя и хитрый – у-у-у!

В тот раз с ней случился приступ. Изя вызвал „скорую“. Мать с трудом выходила, тяготившуюся жизнью: „Зачем? Мне было так хорошо“.

Никак им не удавалось выбраться из тех скитаний. Ходить по той самой улице, где их отделили от остальных, чтоб убить, было унижительно. Изя догадывался, что не сделал чего-то очень важ-

ного, но догадка не хотела обрисоваться уверенностью.

Как-то отец стал рассказывать, как выводили и ставили в колону полукровочек, внучиков своих, деды-, „бандиты“. Изя спросил: „Ты бы накормил кого-нибудь из них, если бы они прятались среди нас?“ Ответ у Наума был припасен: он не простит врага. Даже, если тот будет ползать у него в ногах. „В ноге“... – поправил сын рассеянно, вышел из дому и поехал в то село, где дочь полиция подкармливала его картошкой.

Она узнала его, когда он был еще далеко от того самого плетня. Низкорослая, лишь чуть возвышалась она над сплетенными лозинами. Во двор приглашать не стала. Он увидел, какие глаза у тех, кто подкармливает еврея: ясные, спокойные... „То чому ж вы не прийшли? Я тримала для вас сала“. Она чего-то пугалась по мере того, как он подходил ближе. Тут он и увидел, что она калека. „Я чекала, – сказала она, разоблаченная. – Нихто мене николи не образыв. Тильки-но ты! Спасиби. Хоч раз мала...“

Ему подумалось, как могло бы быть: он бы носил ее на руках, изувеченную полиомиелитом, работал бы для нее. „Д-а-а!“ Но мысль эта чего-то испугалась и спряталась.

Он стал навещать ее, делал для нее покупки в городе, выполнял кое-какую мужскую работу в ее доме. И это было гораздо праздничней такой же работы у сестры: уходила обреченность. Она же удивлялась всякий раз празднику, надевала нарядное платье, сидела и лузгала „насиня“.

А Хануся доченьку свою убила на шестом месяце. Вдруг испугалась предстоящего материнства без мужа и договорилась с докторшей, любившей подзаработать на убийстве. Девочка все поняла, испугалась, все тузила мать кулачком, когда та шла выбрасывать ее. Но мать не услышала.

Немец, позволивший Ханусе родиться, был еще жив. Когда шестимесячная умерла, он заворочался во сне, пробормотал что-то горестное...

На третью ночь и он умер, переполненный немецкой своей культурностью.

ИНОСТРАНЦЫ

Супруги сидели в креслах словно каменные изваяния, и разговор между нами становился все жестче и суше.

– Ты просто не любишь Валентина. Ты ревнив и завистлив, вот и не любишь, – говорила Жанна, слегка подвизгивая от раздражения, – ты его не любишь и не хочешь. А он будет абсолютно на месте.

Макс нутром чувствовал, что Валентину тут места нет. Из-за этого, собственно, и началась очередная ссора. Все было бы ничего и дело ограничилось бы, как обычно, вялой перебранкой, но Жанна начала объяснять Макс, каковы его подлинные мотивы, а люди в таких случаях обычно выходят из себя: кому лучше знать, почему я думаю так, а не иначе? Мне или тебе, сука?

– Ах вот оно что, – с подчеркнутым равнодушием сказал он, – ты про меня все знаешь. Жаль, что ты не знаешь так же много про Валентина.

Макс не хотел сразу переходить к настоящему словесному мордобою. Он ждал, что Жанна начнет первая или хотя бы скажет какую-нибудь особенную глупость, чтобы он мог ей убедительно объяснить, чего она сама, жаба, стоит со всеми ее жабыми ужимками.

Но в это время позвонил телефон. Жанна сняла трубку. Слушала она молча, поджав губы, и Макс понял, что звонок очень некстати. Она явно ждала момента, чтобы взвалить этот разговор на Макса. Наконец это ей удалось.

– А вот тут Макс, – ириво пропела она, – я дам тебе Макса, –

и протянула трубку Макс, глядя на него жалким и одновременно злорадным взглядом. Закрыв трубку рукой, она не без иронии сказала, – это твой кузен из Минска, говори с ним сам. Хочет у нас остановиться. Ну конечно, лучшего времени он не нашел.

На самом деле кузен из Минска Борис был вполне славный парень. Он всегда привозил с собой необыкновенную самодельную сельскую жратву и ценные книги: то ли на подарки каким-то нужным людям, то ли на продажу – он всегда темнил. Он хорошо рассказывал еврейские анекдоты, смешно изображал Брежнева. Он оказал в свое время семье две-три услуги. С ним приезжали – последовательно – три жены, тоже славные бабенки, особенно последняя, натуральная белоруска, даже говорившая по-русски с заметным акцентом. Он подцепил ее где-то в белорусской глубинке, там же, где и потрясающее сало, за которое во время войны фрицы, небось, снесли не одну туземную голову. С этой третьей женой Бориса Жанна даже нежно подружилась, хотя была на десять лет старше и имела совсем другую культур-мультикультуру. Макс даже подозревал в этом случае латентное лесбиянство.

Кузен Борис не оставлял супругам свободы выбора. Не ведая о том, какие сложности он им создает, он весело сообщал, что уже приехал и вечером будет у них. Из самых добрых намерений он добавлял, что везет с собой особый сырокопченый белорусский окорок, о каком в здешних краях и не слыхивали. Он говорил, что пробудет у них на этот раз всего три дня.

Макс был бы только счастлив. Последнее время было как-то тяжело и тоскливо, даже хуже, чем обычно бывает зимой. Макс плохо спал. У него случилось что-то вроде инфаркта, и после этого его уже не покидало предчувствие настоящего инфаркта. Больше всего он думал об этом, когда ложился в постель. И от этого просыпался, не успев как следует заснуть. Иной раз это случалось три-четыре раза кряду. Макс нуждался в том, чтобы слегка развлечься. Приезд Бориса был бы очень кстати.

Но по закону большого свинства он оказался совершенно не-кстати. Дело в том, что Жанна и Макс ждали завтра гостей. Это были очень важные гости, и далеко не всех своих знакомых они хотели бы видеть у себя дома вместе с этими важными гостями. Это была совсем не та компания. Много чести такому Борису. Да

и его показывать таким гостям было как-то неловко. Что они о нас подумают. Макс вспомнил, как на него смотрела Жанна, протягивая телефонную трубку. Стерва, гадина, сука, но что тут поделаешь – сука была права.

Борису нельзя было сказать, что в доме ремонт или грипп. С ним такие отговорки не проходили. Он был свой, и он останавливался у них при любой погоде, любом ремонте и любой эпидемии. Эти все дипломатические формулы годились для прочих. С ними так обычно и поступали, когда считалось, что оказывать им услугу не было выгодно. Но с Борисом так поступить было нельзя. Он безусловно был бы оскорблен. Жанна на это пошла бы, особенно в нынешнем раздраженном состоянии. Но Макс еще до такого не дошел.

А между тем Борис был на самом деле совершенно нехстати. Ждали иностранцев из Вашингтона. Надо было как-то сделать так, чтобы Бориса на этот раз в доме не было. Его надо было отшить. Макс перебирал в уме варианты, один глупее другого. Он впал в панику и не мог придумать ничего лучше, чем сделать вид, будто он не слышит Бориса. Он разыграл в телефонную трубку целую радио-пьесу, под конец громко прокричал пару раз „ничего не слышу, ничего не слышу“ и якобы нехотя повесил трубку. Спина у него противно вспотела от напряжения. Глаза заслезились; он шмыгал носом. Жанна уже была рядом.

– Неужели ты думаешь от него так отделаться? – в голосе Жанны было шипящее торжество. У Макса застучало в ушах, и по лбу потекли горячие капельки пота. Его передернуло. Он делал вид, что уверен в успехе своего трюка.

– Может быть, и побоится ехать в такую даль, если будет думать, что плохо договорился из-за сломанного телефона. Слава Богу, ему есть еще куда пойти ночевать. Это большой город, побольше Одессы или Минска. И у него не мы одни знакомые в этом городе.

– А если он сию минуту еще раз позвонит? – Жанна не хотела составлять Максу компанию по части беспомощного самообмана. Макс понимал, что она не станет ему помогать, а сделает все, чтобы довести его до полной паники и истерики. У Макса занял затылок, и он подумал, что еще немного и он побежит в галльон блевать.

– Можем не подходить час-другой к телефону, – сказал он, стараясь звучать как можно более равнодушным и по-деловому, – ведь я же дал ему ясно понять, что телефон испорчен.

– Не будь идиотом, – сказала Жанна, – он успел тебе сказать, что приедет, и мне он успел сказать. Он даже не станет утруждать себя еще одним звонком. Можешь быть уверен, он уже садится в метро.

Эта сука хотела, чтобы Макс вышел из себя. И она этого доби- лась.

– Ну что ты вяжешься, твою мать, – заорал он, – чего тебе надо?

– Мне не надо ничего, – Жанна отвечала так, словно вкола- чивала гвозди, – но ты должен был прямо ему сказать, что у нас места нет. Пусть для разнообразия поживет где-нибудь еще. Он ничего не потеряет. А теперь твои фокусы кончатся очень просто. Он приедет – вот и все.

– Ну и что? – Макс у вдруг стало абсолютно наплевать. – Ну и приедет. Никто от этого не сдохнет.

Ты, шалава, может быть, и сдохнешь, так это только к лучшему, подумал он про себя.

Сознание того, что у Жанны будет испорчено настроение, слегка утешало его. Но он и понимал, слишком даже хорошо, что это все-таки слабое утешение. Иметь в доме Бориса одновременно с вашингтонскими гостями было досадно.

– Ты прекрасно понимаешь сама – положение безвыходное, – сквозь зубы сказал Макс. – На моем месте ты сделала бы то же самое. Поэтому ты и спихнула это на меня.

– Это твой родственник, – жестко ответила Жанна, – твой, а не мой.

У Макса перехватило горло от бешенства.

– Ах так, – сказал он, – а почему ты пригласила Каменецкого? Не потому ли что это т о й родственник? Почему твоим родст- венникам позволено сидеть за одним столом с иностранцами, а моим нет? Мои плебеи, а? Ну, конечно, мои родственники из Минска, а твои из Беляева. Твои достойны смотреть в рот иностран- цам, а мои нет. Вы, бля, интеллигенция, а мы, бля, шпана. Так что ли?

Жанна глянула на него в упор, в первый раз за время всей сцены она посмотрела в его подлые очи.

– Да, – сказала она, – и вот тебе доказательство. Я не буду как ты увливать. Твоему Борису с его минскими замашками это кушанье все равно не в прок. Он и по-английски говорить не умеет.

– Можно подумать я умею, – огрызнулся Борис.

– У тебя есть другие достоинства, – очень серьезно сказала Жанна. – Впрочем, хватит зря базарить. Пускай приходит твой Борис. Но пусть не удивляется, если ему не дадут рассказывать его неприличные анекдоты и никто на него смотреть не будет.

Макс, сжав зубы, молчал. Он ненавидел за малодушие себя. Еще больше он, натурально, ненавидел за свое малодушие Бориса. Больше всего он ненавидел Жанну. Он ненавидел всех за то, что все пристроились к тому же воздуху, что и он, и дышат этим воздухом неизвестно по какому праву. Американцы приедут в гости к нам, думал он. Не звать гостей невозможно. Кто же тогда увидит американцев у нас в гостях? Но нельзя приглашать кого попало. С какой стати делиться с каждым встречным и поперечным? Американцам тоже не всех можно показывать. Но главное, что Макс нутром чувствовал: у дверей толпятся все, а званы бывают только достойные.

– На кой черт, – выдавил из себя Макс, – ты заставила меня пригласить Лидку?

– У Лидки отличный английский, – уверенно ответила Жанна.

Ответ казался убойным, но у Макса было чем ответить тоже. Он не поленился встать. Потом подошел к Жанне поближе и, согнувшись пополам в иронически-раболепной позе, прошипел прямо в ее поганые очи:

– Смотри, как бы она со своим английским не заболтала гостей да так, что они и тебя не заметят.

– Зато с твоим кухонным английским они наверняка заметят тебя, – огрызнулась Жанна. – Как тебя еще заметишь? А надо чтобы заметили, надо. Ты у нас фигура. Не я. Я секретарша. Мое дело конверты клеивать. Ты у нас столп общества, ты отказник, ты в лагере сидел. У тебя спрашивают, какая будет завтра погода. Я только толмач при тебе. Американцы к тебе приедут. Не ко

мне. Ко мне приедут Витя Каменецкий, Лидочка, которую ты назвал Лидкой, и Шторовы.

– Если не побоятся.

– Кто? Шторовы? А чего им бояться?

– Мы с тобой знаем. Или ты не знаешь?

– Не имею ни малейшего понятия. И хватит говорить о моих знакомых. Посмотри на своих.

Опять позвонил телефон.

– Возьми трубку, – сказала Жанна.

– Сама возьми, – сказал Макс.

– Это твой кузен, – сказала Жанна.

– Плевать, – сказал Макс.

Они сидели и оба молча считали звонки. Телефон прозвонил четырнадцать звонков и наконец заткнулся, будь он проклят.

– Я тебе все это еще припомню, – сказала Жанна.

– Получишь по зубам, – сказал Макс, – я в долгу не останусь.

– Ну хорошо, – сказала Жанна, – хватит лясы точить, – займемся делом.

Макс истерически захихикал.

– Успокойся, а ну-ка успокойся, – теперь Жанна взяла покровительственный тон, – мы должны окончательно решить. Ты, я вижу, уже об этом забыл.

– Чего ты еще хочешь? – почти заревел в истерике Макс. – Все уже решено.

– Нет, не все. Ты хочешь легко отделаться.

– От чего я хочу отделаться, скажи на милость?

– Ах, как удобно ничего не помнить.

– Что еще я должен помнить?

– Идиотом прикидываешься? Завтра у нас будут американцы. Забыть изволил?

– Ах, вот ты о чем. Мы же только что с этим покончили.

– Нет, не покончили.

– Что еще?

– А ты не помнишь, конечно?

– Да что ты заладила помнишь-не помнишь, – взревел Макс, – что ты со мной загадками разговариваешь. Что я должен помнить?

– Не что, а кого.

И Макс действительно вспомнил. Уже целую неделю они не могли решить, приглашать или не приглашать Зельдовича.

– Зельдович что ли? – спросил он капризно.

Жанна молчала. Она всегда молчала, когда знала, что первый, кто откроет рот, обязательно окажется в невыгодном положении. В таких случаях перемолчать Жанну было невозможно. Макс не выдержал и на этот раз.

– Зельдович понимает, – сказал он.

– Что он понимает? Сколько? В чем он понимает? В ком? Что ты мелешь.

Забрезжила надежда, что Жанна теперь заговорит, но не тут то было. Жанна перебивала не для того, чтобы подставляться. Она пошла в другую комнату, вернулась, уселась поудобнее и принялась затачивать ногти. Самое лучшее теперь было бы заняться чем-нибудь в том же роде и ждать молча. Но у Макса не хватило выдержки.

– У Зельдовича, – снова заговорил он, – масса достоинств, – во-первых, он доктор. Настоящий доктор. Во-вторых, он интеллигентный человек.

Жанна только усмехнулась.

– Настоящий интеллигентный человек, – почти с гордостью сказал Макс.

Жанна продолжала подправлять ногти. Воображение Макса исчерпалось быстро. Он еще раз повторил, что интеллигентность Зельдовича неподдельна, и на этом его ресурсы исчерпались. Как тянуть резину дальше, он не знал. После долгой паузы он начал довольно вяло плести что-то такое насчет творческой интеллигенции. Неожиданно это задело Жанну, и она приподняла забрало.

– Зельдович, конечно, творческий, – сказала она со всей язвительностью, на какую только была способна, – ему как творческому американцы позарез на ужин нужны.

– Если они нужны тебе, то почему они не нужны ему? – Максу казалось, что ему удалось ударить Жанну в живот, но живот у Жанны оказался достаточно крепкий.

– Американцы, – назидательно отвечала Жанна, – американцы нужны всем. У всех такая потребность.

– Ну тогда, – не менее язвительно сказал Макс, – давай всех и пригласим.

Жанна на это только усмехнулась.

– Ишь как тебя на благотворительность тянет. Тут не суп для бедных раздают, – Жанна чувствовала свое полное моральное превосходство.

Макс задумался. Его ирония пропала даром. Все, что он говорил, выходило против него. Жанна была исключительно изворотлива.

– Во всяком случае, – сказал Макс очень уверенно, – я не вижу разницы между Зельдовичем и Комаровским.

Жанна перестала подпиливать ногти и смотрела на Макса минуты две. Вероятно, искала слова, чтобы врезать Максу как следует. Наконец, видимо, решила, что нашла.

– Опять все сначала? Ты что же, идиотом прикидываешься? Мы же договорились: кроме тех, у кого моральное право обедать с иностранцами, но и полезных людей. Комаровский важный, нужный человек. По этому списку он и идет. Говорили уж об этом. Что же ты опять нудеть начинаешь? Ты хочешь мне испортить вечер? Мало одного твоего Бориса?

– Допустим, я согласен с тобой насчет Комаровского, – Макс старался держаться спокойно, рассчитывая, что разговор будет похож на деловой, а когда Жанна чего-нибудь ляпнет, он вlepит ей пару горячих. Пожалуй, имело смысл потянуть ее несколько за язык.

– Конечно, Комаровский человек полезный, но неужели нельзя было расплатиться с ним как-то иначе?

– Ну и чем ты будешь с ним расплачиваться? Деньгами?

– Ой, ну какими деньгами. Нужны ему деньги, ты ж понимаешь. У него в двадцать раз денег больше нашего. Но американцы – это для него слишком. Вот на той неделе придет Жаров. Это как раз для Комаровского. Видный актер и поэт, и чего там еще.

Макс надеялся, что Жанна разъярится, но она вдруг решила пойти на мировую. Как видно, делать Комаровскому лишние комплименты было ей тоже не по нутру.

– Ты прав про Комаровского, – сказала она, – много чести жабе. Тут мы слегка перебрали. Однако, чего теперь маяться. Он уже приглашен. Приглашен и ладно.

– Что правда, то правда, – неожиданно миролюбиво сказал Макс, – чего уж теперь. Но я просто хотел сравнить его с Зельдовичем. Ты можешь мне сказать, в чем разница между ними, а?

Было такое впечатление, что Жанна задумалась. Супруги уже не тешились ненавистью друг к другу. Теперь они занялись более безопасным для семейного мира делом: они оценивали знакомых, решая, каков их социальный вес.

– Зельдович доктор, настоящий доктор, – задумчиво протянул Макс.

– А ты уверен, что это такое уж большое достоинство? – очень серьезно спросила Жанна. Вопрос задавался уже в сотый раз, но его внутренняя энергия никогда не могла иссякнуть. – Времена меняются, – с умным видом продолжала Жанна, – десять лет назад – безусловно, это делало его человеком. Но теперь – я не уверена.

– Н-да, недобро усмехнулся Макс, – в былые времена костыми ложились, чтобы докторами стать, а теперь вот – накося, выкуси.

– Конечно, – взвешивала капитал Зельдовича Жанна, – он еще страшно начитанный и сам художник...

– Какой он художник, – поморщился Макс, – таких художников в нашем городе как собак нерезаных, – вышло так, что теперь Макс и Жанна поменялись местами. Жанна теперь, казалось, увлеклась Зельдовичем.

Не скажи, – пропела она голосом знатока, – разумеется он дерьмо, но я назову тебе десяток таких, которые гораздо дерьмее. К тому же он ведь все-таки не профессионал.

– Остальные, что ли, профессионалы, – развел руками Макс, – ой, уморила. Хотя – не в этом дело, ей Богу. Если уж начистоту, то Зельдович просто прилипала. Потерся по салонам, прослышал, что рисовать модно и тоже взял в клешню кисть. Нет, Жанночка, докторская степень теперь, конечно, в цене упала, но не настолько. Художников вокруг, посмотри, как пауков в банке. Разве что писателей больше.

– А как мы за ними бегали лет пять назад, – Жанна обхватила голову руками, – кто мог подумать, ну кто мог подумать. Графоманы проклятые, попрошайки.

– Ну-ну, не перегибай палку. Все-таки есть у нас Бродский...

Довлатов... кто еще у нас бывал, ну этот, как его, ты должна помнить.

Но Жанна, похоже, не помнила. Она выглядела устало и озабоченно. Жизнь была безжалостно тяжела и обременяла сознание. Жанна почти страдала.

– Н-да, – невесело протянул Макс, – когда у тебя в доме американцы, так и гостей-то порядочных не набрать.

– Я уж не говорю о таланте, – вслух размышляла разочарованная Жанна, – талант от Бога, или он есть, или его нет. Но были бы хотя бы порядочные люди.

Наступило молчание. Жанна сидела, глубоко погрузившись в кресло. Она многозначительно затягивалась табачным дымом, и над ее головой слоились рваные клочья синеватого дыма. С подчеркнутой аккуратностью она стряхивала столбики пепла в пепельницу, стоявшую на полу под ее правой рукой. На лице она пыталась соорудить спокойно-ироническую гримасу, но это не очень-то ей удавалось. Что же такое происходит, казалось, думала дама, за что нам такая судьба. Почему нам приходится жить Бог знает где и среди кого. Пустыня, Богом проклятая пустыня. Слова человеческого вокруг не услышишь. И скоро перевалит через пятьдесят. Жизни как не было.

Макс сидел, оперев локти в колени и обхватив руками голову. Вот глупость какая, обреченно думал он. Впервые за пять лет в дом придут американцы. И что же? Некого пригласить в гости. Скотский загон какой-то. Провинциальный хам Каменецкий, жеманные болонки Шторовы, мымра и дура Лидка, спекулянт Комаровский, психопат Стеклов, Згин – тоже психопат, Афонин – художник от слова худо и эти двое – как их. И кто они такие – писатели, музыканты, химики?

И мы еще самые сливки отобрали, думала Жанна. Ну ладно, допустим, американцы не заметят, какое вокруг дерьмо. Один, кажется, говорит по-русски, но какой у него может быть русский. А наши, слава Богу, кроме Лидочки, по-английски еле волокут. Нетрудно умниками прикидываться. Ругай Советскую власть и тебя будут держать за Спинозу. С виду-то наш брат очень даже ничего. Интеллигенция. Иностранцы это уважают...

Зазвонил телефон. При Бориса забыли и, стало быть, забыли,

что собирались не отвечать. Макс автоматически поднял трубку. Это был Борис. У Макса уже не было энергии на какие бы то ни было чувства. Он вяло подтвердил, что были какие-то нелады с телефоном. Потом слушал долго, кивал головой, облизывал губы и чесал лоб. Потом повесил трубку. Жанна тем временем включила телевизор и смотрела американский футбол. Макс сказал:

– Он не приедет. Он звонил домой в Чикаго, и оказалось, что ему срочно надо возвращаться назад. Повестка в суд или что-то в этом роде. Ну, слава Богу. На этот раз пронесло.

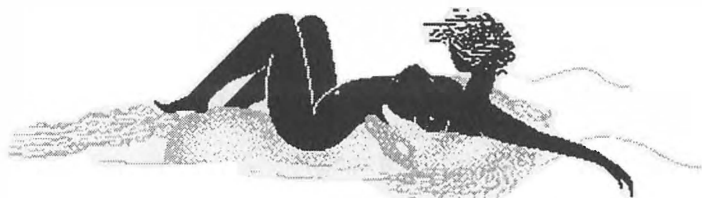
Можно было радоваться хотя бы этой маленькой удаче. Но Жанне было не до того. Завтра предстояло ехать на халтуру через весь Нью-Йорк. Начиналась головная боль.

Н О В А Я К Н И Г А

юлия винер

о деньгах, о старости, о смерти и пр.

(стихи 1985–1995 гг.)



Издательство ALPHABET 192 стр. Цена 30 шек.

Книгу можно купить по адресу: J.W., P.O.B. 2725, JERUSALEM
Можно также заказать ее по тел. № 02-6231563

Михаил Генделев

ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ

I

В

Палате Мер и Весов
нет например идущих часов

а

под

вальсок

на точный размер голосок фасон
любовь моя верная без трусов
и жизнь на один сезон

в палате

мер моих и весов

звон малиновый эталон

солдатам бесплатно так за пятак

а девочкам

за талон

от входа с лопатой наискосок

посетителям от нуля часов

именно этот и есть

песок

и маятника

кусок.

II
ЛЮБОВЬ

А то еще я лампу света потушил
как вывернул карман у мрака
через

во именно
карман
опять с такой подкладкой что

ни туши
ни души
ни кто

стоять на локтя рукоять
поставил
череп

ночник
с внутри как бы
сияния зевком

разинутым
себя
сознания помимо

я так тебя
люблю
любил любил любил

и
это так легко
что пустота сравнима

оно
и
вся любовь

моя
по крайней мере
из числа

ничто
хотя согласно школе
в опыте с бабочкою полагается зола

на сладкое
от
пламени и боли

любовь
моя по крайней мере
вещество

и
есть
какой любви такая жалость

и весь
я так тебя
любил любил любил

что ничего
от
существа осталось

III ВОЙНА

Война
когда смотреть с вершины
Небесной Красоты машина
и
даже
смерти не бывает
поскольку мы остались живы
поскольку мы остались дома

поскольку
живы
и
как видишь
свирепо не рыдают вдовы
в посмертном переводе с идиш
военным ангелам подобно
военным ангелам подобны.

Война
способна к философии
послеобеденной особенно
причем
любовь и смерть
поклоняться
к войне
способно пририсованы

что и не остается кляксы
при самом плевеньком калибре
от плаксы маленькой надежды
и даже надписи на титрах
когда поют они кромешно
в широких праздничных одеждах
по ветру праздничных одеждах
конечно свадебных конечно.

Война в моем танцует сердце
а я ее колеблю серьги
поскольку мы с тобой бессмертны
что только от случайной смерти
любви немилосердной
либо
от одиночества и муки
а может это день счастливый

что я войне целую руки
из благодарности наверно
войне целую руки видишь
за смысл
в переводе скверном
на
польский
с идиш.

IV
и СМЕРТЬ

А.В.

Не так давно
я смотрел в окно
и думал что жизнь говно
а надо чего
а надо ничком
в комнату где темно
и синим чтобы огнем горел
этот Иерусалим
а я бы
даже не посмотрел
и даже не похвалил
а только б вышел потом
и сел у святынь
нам
всем дорогих
и естественно пожалел
что не со мной кочерги
крах сказал бы я вам и прах
августейшие
и
зола
ав сказал бы на ваш на Храм
от Девятого от
числа

долго и просто
бы
так сидел
много ли надо нам
в небо ясное бы глядел
глядя
по сторонам

и я спустился
как за водой
на площадь Не-Помню-Каких-Святых
и
прохожие чередой
коты
огня раскрывали рты

Что
поднимали мы уда тяжельче
чтоб положили превыше плеча

дуем в рожок да уродуем женщин
снег и печаль
желчь и печаль

и
что
в дураки что в жмурки

тот же азарт
и
могу на глазах

этим мазурикам в Санкт-Петербурге
как
пробивают туза.

V
ДЖОКЕР

Платим должок таки честный дружок
и
нет да и оборотившись ко мне

в лужу железную смотримся джокер
видим
колпак с бубенцами комет

венами шитая
как бранденбурами
телесная кожура

рожа
сама
или с Санкт-Петербургу

или
проездом
или с утра.

Даром
помочь их господь не спасает
вышли мы все из Таро

Русская Музыка
грудь
сотрясает

как
погремушку
горох

Русская Музыка грусть мою давит
образом с девушкой
и постепе

жисть пропадает дактиль рыдает
и
припадает на правой стопе.

Огонь
нам помогал при поджоге
Ветр в игре а в любовях Вода

Землю есть
но
мы бессмертные джокер

не больно бессмертны
но
хоть иногда

дуем в рожок мой вечный дружок
и
сонную обламываем сирень

мы
у Яхве выколоты на жопе
с гримасою набекрень

1997-1998 гг.

Иерусалим

“ИЗРАИЛЬ - 50“

Впервые вся история Еврейского Государства за 50 лет. Главные и второстепенные события; войны; борьба с террором; экономика и культура; люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю государства; скандалы, всколыхнувшие общественность.

Праздничный альбом, 160 цветных страниц.

В Израиле – 87 шек. В Америке – 37 дол., включая пересылку. В Европе – 30 дол., включая пересылку.

Издательство “Меркур” ул.Дов-Хоз 11/7, Тель-Авив

Хамуталь Бар-Йосеф

Как бросивший курить
заново открывает запахи воздуха и воды,
как отказавшийся от сладостей
начинает чувствовать сладкий вкус моркови –
так наступит и день добра.
Не тот, о котором шептала мать
мне перед сном:

 когда начался погром,
ее бабушка варила капустный суп
(„щи“ – говорила мама) во дворе,
под вишней, у беленого частокола.
Казачи пришли, сели за стол,
поели.

 Люли-люли, спи!
а после один из них перестрелял
всех мужчин в доме.
– На баб и пули-то жалко, – сказал.

Отец не вспоминал о прошлом,
о детстве, о своих страхах.
Он обертывал мои тетрадки коричневой бумагой,
вздыхал во сне,
пел смешные песенки, если я плакала,
ласково гладил по голове.
И любил селедку с луком.

Когда я была страшекласницей, поклялась:
выйду замуж, чтобы не видеть тебя,
забуду лицо, где в каждой морщинке застыла
вечная зависть к другим матерям.
О, сколько я клятв давала –
нерушимых, пламенных клятв!

Утром я разорвала наволочку
и покрывало с голубыми кистями
и поклялась убить тебя:
ведь ты подло подсунула мне градусник,
сказала: „у тебя жар“ – и не пустила в поход.
Днем я побрилась наголо
и дала клятву: завтра умру.
А вечером увидела в своем письме
(я тайком писала женатому человеку)
твою приписку,
этот наглый, корявый почерк!
Представляешь, что со мной было?

По правде сказать, теперь и сама не помню...
А мое лицо, где в каждой морщинке застыла
вечная зависть к другим матерям,
никому не нужно, кроме тебя.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

Представь корову, вступающую на пастбище:
на холке играет свет, солнце она как жвачку
жует – и оно стекает медленной нитью слюны,
вымя ее набухает сладкой, блаженной болью,
она доверчиво тянется ко всему, что видит –

и вспышку боли, когда она прикоснулась
к проволоке под током.

Или представь: ты на ощупь бредешь в темноте
к своей кровати, но спросонья ложишься в чужую –
по ошибке. И вдруг понимаешь,
что рядом с тобою в постели та,
которую ты так давно хочешь.
А она просыпается, хватая тебя за волосы
и впечатывает головой в стену.

Да что объяснять:

или ты знаешь, что значит больное место,
или не знаешь.

Это случилось весной в деревне. Мне было семь лет.
Наступал вечер Песаха
(и на пороге провозглашение Государства),
я накрывала на стол – четыре тарелки по кругу,
а в центре расставим пасхальные яства.
Банты на моей голове колыхались
как розовые мыльные музьи,
и стекла еще визжали под смятой газетой
о неутолимой страсти женщин к свету и чистоте,
всегда обостряющейся в эту пору.
Мне хотелось постичь тайну мудреных слов,
которые день за днем неслись по газетному полю
как тройка маленьких вороных, впряженных в колесницу,
на пути в страну истины. Иго-го!
Равенство, социализм. Иго-го! Мое братство народов!

Ведь именно это тайком обещал мне старший брат:
у нас будет свое государство, и страна – единый киббуц
(его тайну я сохраняла в сердце,
укрывала в груди, прятала в пышных бантах).
Он чертил автоматом в дорожной пыли,
по которой брели коровы,
Средиземное море, озеро Хулу, Кинерет, Мертвое море,
нанизанные на нить Иордана.
Брат как ожерелье подарил мне нашу страну,

и месяц впридачу: теперь каждый вечер в семья могла, поглядев на небо, сказать брату „шалом“, когда мы далеко друг от друга.

Он остановил колесницу Большой Медведицы и вложил в мои руки вожжи –
весь мир для тебя открыт.

Отец сидит в углу комнаты и молчит, не вмешивается в хлопоты, не дает советов, он зажимает ладонью больное место под рубахой, давит на него все сильнее, загоняя боль в глубину.

Скажи папе, чтобы он шел к столу, скажи папе, чтобы он шел к столу, поговори с ним, развесели хотя бы свадебной песенкой, которой он часто тебя смешит:
– Невеста, возлюбленная, не плачь, придет жених, принесет тебе тертого хрена.

Как
развеселить
отца,
когда он печален?
Свадебных песен на его идише
я не знаю.
Этот запретный язык –
тоже больное место.

Упрямица не желает смешить отца
и уходит из дома,

и бредет, как корова, полная черным солнцем.
На автобусной остановке Шошана
ест хлеб с американским соленым маслом. Блестят
ее губы и золотые сережки.

Тсс... Шошана – беженка из Европы.
Там даже девочки носят серьги и взрослые платья.
У Шошаны платье из шелка, можешь пощупать,
пощупай – американский шелк... Перестань!
Что-то не так в ее голосе, в намасленных губах,
в ускользящем взгляде, лживом и робком.
А остановка пуста, брат не приехал...
Выдумки! Дерни ее за платье и пусть орет,
наплевать, что она беженка.

В доме были люди в военной форме и ушли,
и солнце погасло.
У мамы красные веки. Я боюсь ее глаз,
боюсь спросить, что случилось.
Отец лежит на зеленой тахте,
скорчившись и отвернувшись к стене.

Мама не просит развеселить его.
На столе по-прежнему четыре прибора.
Папа, иди к столу,
иди к столу,
к столу.
Развеселись, папа, рассмейся,
сядь во главе стола за пасхальный ужин.
Страшно прикоснуться к отцовской спине,
к его липкой щеке.
Может, поцеловать его? – думаю я
и тянусь неуклюже.
Но он распрямляется и ногами
больно ударяет меня в живот.
Случайно? Нарочно? Встает,
и если сейчас он глаза откроет,
из них хлынет кровь.

Я не умею петь и смешить.
Боль с годами должна остыть.
Лучше представь себе корову или стену.

Переводы Елены Игнатовой

ВОСКОВОЙ ВАЛЬС

1

День ладно скроен, сшит внамётку –
Как набело строчат романы –
Берет одышливую нотку,
Как попрошайка, кланчит манны;

Как побирушка, в полдник тянет
Машины к загородным кущам
И волочёт, как на аркане,
Живущих – в сумерки, зовущих –
К предмету зова, вопиющих –
В пустыню – там-то им и место...

Неотвратимей, слаще, гуще
Замешивает ночи тесто

Для пирогов твоих любимых
С начинкой восковой и слезной.
И клавиши роняют мимо
Руки тот холодок морозный,

Тот иней на стекле, ту зелень,
Ту злобу, оторопь, мороку,
Которые на нас глазели,
Которым нынче одиноко.

Свеча вырастает в фортепьяно,
Как в плоть порой вырастает ноготь,
Забытый ножницами.

Пьяный
Вырастает лбом в стенную копоть,

Корнями прорастает вечер
В дневную призрачную почву,
И сон вырастает и калечит,
И раздирает утро в клочья –
Обложку твоего альбома,
Облатки порошков, таблеток,
Обрывки дантового лета.

И снова нас не будет дома...

И снова капля стеарина
Крыло летучей мыши склеит.
И легкий, будущий, старинный
Вальс восковой тебя лелеет,
Уносит навсегда.

2

Перевернем пустоту страниц
После дождя в четверг.
Всё, что вчера опускалось вниз,
Сегодня падает вверх.

Всё, что стонало, как патефон,
От изможденной иглы,
Все, кто поставил на этот кон
Бухенвальда столы,

Все, кто заткнул в пустоту печи
Ноги, волосы, рот
Вечномолчащий... Кому лечить
Мышь помогал лишь кот,

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Денис Соболев

О ПОЭЗИИ

Литература вообще и поэзия, в частности, принадлежат к тем немногим областям человеческой деятельности, в которых разбираются почти все. Другое дело эстетика, философия литературы или современная литературная теория - это области, которые, как и любые другие науки, являются уделом специалистов. Однако, в отличие от остальных наук, со взглядами которых принято считаться при обсуждении затрагиваемых ими вопросов, литературная теория является едва ли не самым нежеланным гостем в литературном мире. Подобная враждебность с легкостью объяснима. Оправданием нежелания прислушиваться к теоретическим доводам является тот факт, что литература, как и всякое искусство, принадлежит к миру чувств, или к миру духа, и ее сущность постигается только интуитивно. Как всякое искусство, поэзия существует по ту сторону понятий и теорий. Холодное и рациональное расчленение поэтического текста может лишь убить его хрупкую магию, но неспособно вывести на поверхность из таинственных глубин слова ускользающую тайну его поэтичности. Так же как холодный анализ может только убить любовь, но не способен прояснить ее вечную тайну, анализ поэтического текста способен лишь разрушить его.

Так, или почти так, станут оправдывать свою враждебность литературной теории многие из ее оппонентов. И, как это часто случается, в подобных случаях, то что, на первый взгляд, кажется наиболее убедительным аргументом, быстрее всего выдает неустойчивость всей постройке; в данном случае - это сравнение поэзии с любовью. Про надмирную иррациональность любви чаще всего вспоминают тогда, когда реальные и, надо сказать, более

чем земные побуждения, оказываются слишком неприглядными. Про магию поэзии вспоминают тогда, когда слишком заметными оказываются нищета мысли и измененность намерений - магия поэзии призвана перевесить ее сомнительную мораль и многочисленные интеллектуальные огрехи. Но, на самом деле, упоминание про магию является плохим лекарством и от того и от другого.

При ближайшем рассмотрении, магия оказывается далеко не небесным гостем; всем, кто когда-либо изучал историю, знакома магическая способность завораживать, свойственная наиболее отвратительным негодьям, подчинявшим своей воле страны и народы. Нам слишком хорошо знакома магия несвободы, магия коллективного насилия, магия власти. Более того, в своем изначальном смысле магия и означает способность повелевать - властвовать над природой, духами и людьми. И, следовательно, магия противоположна высшему дару человеческого бытия - дару свободы, которому одинаково чужды и холопство, и власть. Стремление к магии является результатом экзистенциальной уязвимости человека и несвободы, господствующей в истории; прославление магии поэзии оказывается зеркальным отражением несвободы, перенесенным в вымышленный мир желаемого. Иными словами, вместо того чтобы искупить грехи поэзии, разговоры о магии пятнают поэзию еще больше; вместо того, чтобы вынести ее за пределы истории, с ее кровью и насилием, они делают поэзию зеркальным отражением истории власти. И поэтому именно магия поэзии, ее власть над умами, и делает особенно необходимым анализ сущности поэзии, анализ прав поэзии на ту власть, которой в нашей культуре она обладает, или, по крайней мере до недавнего времени обладала. Иначе говоря, осознание магической силы поэзии делает необходимым ее оправдание; без такого оправдания поэзия обречена предстать всемирным шарлатаном, графом Калиостро, странствующим по векам и континентам.

Несмотря на то, что существует несколько возможностей защиты поэзии, я бы хотел сказать несколько слов только о трех наиболее популярных. Впрочем, именно на них и держится гигантское здание эстетики: как классической, так и романтической. Согласно первому из традиционных эстетических подходов, поэзия - это не акт мысли, а искусство ее выражения. В простейшем

случае это означает, что поэзия в любых ее формах сродни рифмованному поздравлению с днем рождения; мысль, высказанная с помощью поэтического языка, оказывается легкой в восприятии и приятной для собеседника. Поэзия является формой душевного комфорта. Вполне понятно, что если это так, то все претензии поэзии на особую роль в человеческой жизни лишены основания. Впрочем, существует и более сложное понимание поэзии как „искусства выражения“.

На излете классицизма Александр Поп напишет, что поэзия пересказывает то, что всегда было всем известно, но никогда не было высказано так хорошо. Поэтические строчки, независимо от их содержания, становятся частью языка и коллективной памяти; и поэтому поэзия крайне удобна для кодификации и узаконивания наиболее важных философских и политических догм, выработанных той или иной культурой. „Умом Россию не понять, аршином общим не измерить“. Иначе говоря, поэзия является чем-то вроде карманного катехизиса той или иной культуры. И хотя подобное заключение отводит поэзии достаточно важное место в общей иерархии культуры, оно является прямым отрицанием вневременных, надмирных, претензии поэзии: магия поэзии оказывается не более чем частью идеологической машины. Поэзия оказывается орудием власти.

Впрочем, подобное заключение возможно только в том случае, если определение поэзии, приведенное выше, является единственно возможным. Но, на самом деле, оно не является не только единственно возможным, но даже наиболее популярным; я начал с него только потому, что его проблематичность наиболее очевидна. Согласно наиболее распространенному определению поэзии, поэзия - это искусство слова, это прекрасное, воплощенное в языке. В разных формах подобное определение является столь же привычным, сколь и таинственным. Более того, может быть именно его таинственностью и определяется его сила. Слово „поэзия“, смысл которого в большинстве случаев ясен хотя бы интуитивно, определяется с помощью двух слов, смысл которых не ясен совершенно. Что такое прекрасное? Что такое искусство? Существует ли прекрасное вне искусства? Является ли искусство чем-то большим, чем суммой литературы, живописи, скульптуры, музыки? Ответ на эти вопросы возможен, хотя, как станет ясно чуть позже, он и не решает проблему.

Прекрасное – это то что доставляет удовольствие. Но в таком случае, победа „Бейтара“ на чемпионате Израиля; фильм про Шварценегера – являются ли они прекрасными? В терминах нашей культуры – очевидно, что нет. Но если так, то что же отличает их от того, что называется прекрасным? Традиционный ответ на этот вопрос существует, и он известен, по крайней мере, со времен кантовской „Критики способности суждения“. Прекрасное – субъективно, но универсально. Субъективно – поскольку не существует образца, шаблона, сравнение с которым позволяет определить степень прекрасности объекта. Универсально – поскольку суждение о прекрасном общеобязательно и выходит за пределы чисто личных оценок. Мой сосед любит пиво „Голдстар“ и „Бейтар Иерушалаим“; его жена – розовые романы и кожаные кошельки с застёжками. Но ни то, ни другое не является прекрасным, хотя и доставляет им удовольствие, поскольку достаточно очевидно, что любовь к пиву „Голдстар“ и розовым романам не несет в себе ничего универсального. В отличие от них, красота „Давида“ столь же общеобязательна, как и истинность доказанной теоремы. Неспособность ее ощутить объясняется отсутствием эстетического образования, так же как неспособность проследить за доказательством теоремы объясняется отсутствием образования математического. В обоих случаях речь идет об универсальной компоненте человеческого бытия в этом мире.

Такое понимание прекрасного позволяет дать определение искусства. Искусство – это создание эстетических форм: форм, являющихся универсально прекрасными. Скульптор создает эти формы из камня; поэт – из грубого материала повседневности, из бесцветной слякоти человеческого бытия. Вознося этот материал в область красоты, в область совершенства формы, поэт превращает жизнь, которая, как известно, коротка, в искусство, которое вечно. И поэтому, так же как бесформенная материальность камня не имеет прямого отношения к скульптуре, как чистой форме, содержание поэзии не имеет прямого отношения к поэзии, как искусству. Содержание, почерпнутое из мутного потока бытия, преходяще, в то время как форма вечна. И в этом смысле поэзия – это высшая форма непринадлежности, высшая форма нонконформизма. Будучи равнодушной к миру истории, поэзия в частности и искусство вообще напрямую связаны с вечностью прекрасного: высшим и наиболее подлинным слоем человеческого бытия.

Они уже как бы не принадлежат к мирозданию в его историчности.

Достаточно ясно, что вся эта постройка не мыслима без постулата универсальности эстетического. И в то же время, в конце двадцатого века ничто не выглядит столь подозрительным как разговоры об универсальности; не только историки культуры, но и представители естественных наук сходятся в понимании ограниченной применимости любой теории и почти любого понятия. Что касается эстетики, в частности, то контакт с неевропейскими цивилизациями и этнографические исследования являются на сегодняшний день неопровержимым свидетельством против универсальности эстетического. Со времен появления классической эстетики многое изменилось; и чем шире становился горизонт европейской истории и этнографии, тем больше появлялось примеров того, что разные народы называли прекрасным. В этой почти бесконечной разногласии форм нет ничего, что было бы универсальным.

То же самое, хотя и с известными оговорками, справедливо и в отношении одних и тех же культур. Несмотря на то, что поэмы Вергилия и размышления Марка Аврелия гораздо более созвучны моему взгляду на мир, нежели современная российская или израильская беллетристика, достаточно очевидно, что многое из того, что сравнительно недавно казалось образцом прекрасного, режет слух своей напыщенностью и фальшью. Преувеличенная пластика барокко и романтические позы, по всей видимости, принадлежат к этой категории. Иначе говоря, представление о прекрасном зависит от времени и места. Вполне вероятно, что интуиция прекрасного, как таковая, является универсальной составляющей бытия человека в мире, но конкретные воплощения этой интуиции предопределены их культурным контекстом. Проще говоря, то что определенные формы могут доставлять удовольствие - это общечеловеческая черта; но выбор тех форм, которые считаются прекрасными, зависит от конкретной культуры и конкретного времени: ничего общечеловеческого в этом выборе нет.

Для оправдания искусства, приведенного выше, это понимание имеет катастрофические последствия. Во-первых, все претензии поэта на выражение вечных пластов мироздания оказываются лишенными каких бы то ни было оснований. Впрочем, на это можно возразить, что это заключение не так ужасно, как кажется.

Общеобязательность внутри ограниченного культурного региона не так уж мало стоит; и способность той или иной книги доставлять удовольствие ее читателям, хотя бы в одной стране и на протяжении сравнительно небольшого промежутка времени, тоже достойна уважения. Но, на самом деле, это не совсем так. Превращение книги в объект, доставляющий удовольствие определенной группе людей „здесь и сейчас“, ставит ее в один ряд с пивом „Голдстар“ и женскими романами. Более того, в этом смысле розовые романы несомненно предпочтительнее поэм Вергилия и Данте; не только из-за их терапевтического влияния на измученную психику их читательниц, но просто благодаря тому, что число тех, кому может доставить удовольствие Данте, несравненно уступает числу тех, чью душу согревают розовые романы.

Впрочем, это не единственная проблема. Помимо сказанного выше, тот факт, что представление о прекрасном является продуктом той или иной культуры, означает его историческую обусловленность: обусловленность историей власти и насилия; обусловленность той историей культуры, которая, как говорил Беньямин, является историей варварства. Эстетический выбор – это выбор победителей; тот факт, что первые христиане были вынуждены защищать предполагаемую вульгарность библейского языка, которая казалась особенно ясной в сравнении с безупречным языком Гомера, говорит всего лишь о том, что Рим захватил Иудею, а не наоборот. Эстетический выбор является формой разметки границ господства. Так же как медведь помечает когтями на коре границы своей части леса, государство-победитель расставляет „свои“ эстетические формы на подвластных ему землях.

И в этом свете тесная связь, которая всегда существовала между обладанием властью и обладанием эстетическим вкусом, приобретает неожиданный смысл. Принято думать, что обладание властью (деньгами) позволяет получить широкое образование, включая образование эстетическое, а последнее и делает возможным интуицию прекрасного. В случае отдельного человека – это несомненно так; в случае же государств и больших социальных групп – ситуация совсем иная. Выбор эстетического канона, выбор прекрасного, это одна из прерогатив центра империи и господствующего класса. В Европе до сравнительно недавнего времени именно аристократия определяла невидимую границу между прекрасным и вульгарным. Иначе говоря, эстетический выбор служил

средством разметки не только политических, но и социальных границ. И поэтому поэт, если он ставил своей целью создание прекрасного, старательно реализовывал выбор обладающих властью. Вопреки своей воле, он был далек от независимости - даже в том случае, если он жил в холодной мансарде и пробивался с хлеба на воду. Такой поэт оказывался невольным конформистом, заложником собственного самообмана. Формально-эстетическое оправдание искусства, как вечного и свободного, было выстроено на песке.

Впрочем, существует и другая возможность оправдать поэзию - оправдать ее, не прибегая к терминологии „прекрасного“. Эта возможность связана с избирательным применением теории информации к литературным текстам. С точки зрения сторонников подобного подхода, который в русскоязычном мире часто связывается с Тартуской школой, поэтический текст отличается от обычного, в первую очередь, благодаря сконцентрированности информации. Во-первых, в поэтическом тексте все значимо, по определению. И поэтому даже мельчайшие детали оказываются носителями информации; читательское отношение к тексту делает возможным передачу смысловых оттенков. Во-вторых, повторение фонетических, ритмических и грамматических элементов устанавливает связи между теми элементами текста, которые, на первый взгляд, не связаны между собой. „На берегу пустынных волн, стоял он дум великих полн“. Рифма связывает „волн“ и „полн“; полнота моря превращается в полноту мысли, и сквозь мысль, обращенную в будущее, шум волн становится шумом города. В дополнение к этому, нарушение конвенций, привычных условностей повседневной речи, которое особенно характерно для различных авангардных течений, создает дополнительный смысловой слой: смысл поэтического текста проявляется благодаря подразумеваемому сравнению с нарушенными правилами. В сумме, эти особенности поэзии делают поэтическую речь наиболее концентрированной формой выражения мысли; и в этом ее оправдание. На мой взгляд, в представлении о том, что поэтическая речь связана с особой концентрацией мысли, много правды. Любой читатель знает, что одно и то же стихотворение при повторных прочтениях способно раскрывать все новые и новые грани смысла. И тем не менее, информационное оправдание поэзии сталкивается

с многочисленными проблемами. Во-первых, подобная концепция смешивает информативность в повседневном смысле, которая действительно является достоинством, и представление об информативности, как степени непредсказуемости, которое связывается с теорией информации. Если в ответ на вопрос „Какая завтра будет погода?“, собеседник замяукает, его ответ будет в высшей степени информативным во втором смысле, и абсолютно неинформативным в первом. Боюсь, что поэтическое мяуканье несет в себе ничуть не больше мысли, несмотря на несомненный контраст с нарушенными поэтическими конвенциями.

Вторая, и более серьезная, проблема той апологии поэзии, о которой идет речь, это проблема дешифровки. Избыточная информация, бесчисленные смыслы и полутона, сконцентрированные на крайне небольшом пространстве поэтического текста, неизбежно приводят, как всякий переизбыток, к хаосу – к размыванию цельности мысли. И даже если этого не происходит, не вызывает сомнений, что высокая концентрация мысли на небольшом знакомом пространстве требует от читателя гораздо больше времени и усилий, чем получение той же информации в развернутом и ясном виде: хорошо известно, что почти любой поэтический текст требует нескольких прочтений. И это заключение, в свою очередь, ставит под вопрос „информативное“ оправдание поэзии; если разгадывание ребуса не является целью чтения поэзии, то каждая отдельная минута, затраченная на чтение поэтического текста, оказывается мене „информативной“, чем то же время, потраченное на восприятие тех же идей во внепоэтической форме. Разумеется, на это легко ответить, что ничто так не чуждо поэзии как подобная экономическая терминология – но это именно та терминология, которой оперируют, сознательно или бессознательно, сторонники оправдания поэтической речи, как речи наделенной высокой информативностью. Их поэзия напоминает мне те пилюли от жажды, которые, как мы знаем из Сент-Экзюпери, экономят пятьдесят три минуты в неделю. Если это так, то вместе с Маленьким Принцем я предпочитаю пойти к колодцу.

Впрочем, самая серьезная проблема, которая возникает при попытке защиты поэзии, как поля повышенной информативности, еще не была названа. Эта проблема заключается в том, что информативность как таковая ни в коей мере не способна послужить оправданием поэтической речи. Подобным оправданием может

послужить не только наличие, но (хотя бы относительная) ценность полученной информации; газетные сплетни изобилуют информацией, но это вряд ли способно стать оправданием их чтения. И в этом смысле проблема, возникающая на пути „информационной“ защиты поэзии, является неразрешимой. Строго говоря, никаких греческих богов не существует; поэмы Гомера являются нагромождениями вымыслов. И, в конечном счете, нет никакой разницы высказаны ли эти вымыслы в сконцентрированном виде и с избытком смысловых полутонов, или же они представлены в их первобытной незамысловатой простоте. Их ценность остается нулевой для всех, кроме, пожалуй, историков культуры; но даже для них представления Гомера о мире вынуждены стать всего лишь исходным материалом для дальнейшего анализа. Иначе говоря, если для поэзии Гомера невозможно найти других оправданий, кроме сконцентрированного выражения взглядов его кровавого времени, место этой поэзии в мусорной корзине и нигде более.

То же самое можно сказать и о поэзии вообще. Мысль многих знаменитых поэтов часто не выходила за пределы общепhilософских банальностей их времени; и компактные поэтические тексты, сколь бы концентрированными они не были, несомненно уступают развернутым философским трактатам и по глубине, и по степени убедительности. Еще менее выигрышным оказывается сравнение поэтических и научных текстов, поскольку последние, не уступая поэзии в компактности изложения, несомненно превосходят ее в смысле точности. Иначе говоря, оправдание поэзии, как смыслового поля повышенной информативности, оказывается ничуть не более убедительным, чем оправдание поэзии как компактного катехизиса или окна в вечность.

Итак, все аргументы в пользу поэзии, о которых шла речь выше, оказались выстроены на песке. И поэтому, на первый взгляд, следует отказаться от попыток понимания сущности поэзии и оправдания ее существования. Следует сказать, как это часто делается в наше время, что поэзия - это всего лишь игра, раскладывание слов по заранее данным правилам, игра в исполнение и нарушение литературных конвенций. Размер и его нарушения, рифма и ее отсутствие, форма сонета и хаос верлибра, высокий поэтический слог и вульгарные просторечья. Это, и именно это, и есть поэзия. Такая игра доставляет удовольствие и, разумеется, не нуждается ни в каких оправданиях. Но понятая таким образом,

поэзия снова становится случайным развлечением, игровым автоматом, вещью среди вещей.

И тем не менее, апология поэзии возможна. Так же как наука и философия, поэзия направлена на мир. Но если это так, то сразу же возникает вопрос: каков особый предмет пристального внимания поэзии; или, пользуясь философскими терминами, какова ее региональная онтология. Мы знаем, что у физики есть свой предмет изучения; и свой предмет есть у биологии. Чтобы поэзия не была лишь тенью наук, у нее должен быть свой собственный предмет, предмет, недоступный никому, кроме нее. Но каков же этот предмет? Поэзия рассказывает о человеческих чувствах, но психология понимает эти чувства много лучше поэзии. Поэзия говорит о природе, но природой занимается зоология и ботаника. Поэты пишут о путешествиях и дальних странах, но географы делают то же самое много точнее. Поэзия может рассказать о иных народах и культурах, но этнография и культурология справляются с этой задачей гораздо удачнее. На все это можно ответить, что в отличие от научных данных, поэтические описания наглядны и динамичны. Уступая науке в точности, поэзия превосходит их в смысле наглядности. Так что же, поэзия – это средневековая Библия в картинках, иллюстрация из учебника, наука для неграмотных, прообраз научно-популярного фильма? Но в таком случае, ее место в прошлом; не только потому, что видеофильм много нагляднее, но и потому, что, как мы знаем, поэтические описания не отличаются точностью.

И все же у поэзии, и у литературы вообще, есть свой предмет, к которому она обращена; этот предмет – существование человека в мире, человеческое бытие в его нерасчлененности. И это утверждение требует чуть более подробных объяснений. Человек, существующий в мире, воспринимает себя-сейчас, как точку в потоке существования, как неделимость своего бытия среди вещей, как цельность мгновенного предстояния тому, что он ощущает как иное – существующее вне него. Стол у окна, каменные плиты пола, пустая коробка, брошенная на балконе, желтизна пустыни в проеме открытой двери. Все они являются иным, тем что не есть „я“; но в сумме мое предстояние им, резонирующее среди вещей, и образует то, что я называю своим бытием сейчас. Впрочем, следует подчеркнуть, и это крайне важно для понимания особого предмета поэтической речи, что понятия „мир“ и „я“ не присут-

ствуют в моем бытии среди вещей; они не являются частью того изначального чувства своего-существования, которое предшествует любой мысли о бытии.

Мир в его цельности проецируется из этой изначальной точки бытия здесь и сейчас, как необходимое условие и смысловой контекст тех вещей, из которых складывается существование человека в его временной определенности и пространственной ограниченности. Так ответ на вопрос о сущности Иудейской пустыни, которую я вижу перед собой, возможен только в контексте: контексте географии Земли, библейской истории, воин Израиля. Эти контексты, в свою очередь, предполагают общую картину мира, мира в его полноте. Иначе говоря, мир за линией горизонта бытия здесь и сейчас появляется (или точнее – проявляется), когда человеческий взгляд останавливается на этой линии горизонта, когда человек спрашивает себя о том, что вне него: о том, что там; и в этом вопросе слово „там“ выступает как отрицание „здесь“. Мое бытие здесь и сейчас становится миром в его надличностной универсальности; вопрос о бытии – вопросом об устройстве мироздания. Это тот вопрос, на который пытаются ответить ученые и создатели философских систем; и это не праздный вопрос – но ответ на него уже не имеет прямого отношения к подлинности человеческого существования среди вещей. Мироздание в его цельности приходит на смену бытию человека; это другая подлинность – но подлинность, которая достигается как отрицание, или просто исчезновение, предыдущей.

Точно так же появляется „я“, появляется человек с его биографической историей. Этот человек не присутствует в момент чистого ощущения „сейчас“, его нет в моем предстоянии вещам, он расположен вне моего существования в его мгновенной неповторимости. Только выходя за горизонт своего бытия-сейчас, человек превращает „мое“ (бытие) в „я“, он задается вопросом „кто, тот кто существует?“. Кто есть тот, кто существует среди вещей, его окружающих? Кто есть сидящий за столом у окна, бросивший пустую коробку у входа, оставивший незапертой дверь на балкон? Из подлинности существования появляется иная биографическая подлинность „я“, с личной историей и неразрешенными проблемами. Чаще всего это „я“ предстает как рассказ о своей жизни, как повествование, как нарратив. Может быть, так предписывают законы нашей культуры; может быть, это происходит, потому что

человеческая жизнь действительно имеет начало и конец и этим похожа на дорогу. Но, в любом случае, попросите человека рассказать о себе, или хотя бы о прошедшем дне, и вы услышите бесконечные „и тогда я“, „и тогда она“, „а я ему“. Нет ничего более далекого от постоянно ускользающего бытия, в его мгновенной подлинности, чем подобные рассказы.

Иначе говоря, при первой же попытке сосредоточить мысленный взгляд на своем бытии, это бытие распадается на „мир“ и „я“. И поэтому, когда мы задаемся вопросом о существовании человека в мире, мы обычно делим этот вопрос на вопрос о мире и вопрос о человеке. Мы мысленно отвечаем на вопрос „что есть мир“ и рассказываем „историю моей жизни“. Но в этих ответах мгновенная подлинность существования в каждый из его моментов оказывается безвозвратно потерянной. И тем не менее это существование не фикция, это то существование, сквозь которое мы существуем в этом мире. Мгновенная остановка мысли позволяет нам ощутить - если не свое бытие среди вещей - то, по крайней мере, его ускользание. Оно только что было здесь, и оставшуюся за ним пустоту уже наполняет мысль о нем. Но и эта пустота, и мысль об ускользнувшем бытии, и мысль о пустоте - это тоже формы нашего бытия в мире. Мысль гонится за ним, как Ахиллес за черепахой. Но оно недоступно мысли, которая всегда опаздывает. И тем не менее, это мгновенное ощущение бытия среди вещей можно схватить и сохранить. Эта возможность существует благодаря тому, что схоластики, в отличие от нас, называли интуицией. „Мне холодно. Прозрачная весна / В зеленый пух Петрополь одевает, / Но, как медуза, невская волна / Мне отвращенье легкое внушает“. Краткая, почти застывшая, интуиция бытия становится поэзией.

И поэтому поэзия - это, в первую очередь, искусство виденья. Искусство виденья мира, который и есть мир человеческого бытия. „Розовые сосны, / До самой верхушки свободные от мохнатой ноши...“; „Тонкий воздух кожи, синие прожилки, / Белый снег, зеленая парча...“; „Дикой кошкой горбится столица, / На мосту патруль стоит...“. Видеть течение струи меда и полет ласточки; слышать шаги на мосту и невидимые голоса. Впрочем, вещи вступают в мир человеческого бытия не только сквозь свое присутствие, но и благодаря своему отсутствию. Открывая ящик стола, я не нахожу ключ от балконной двери там, где привык его видеть.

Отрицание привлекает мой мысленный взгляд к ключу, которого нет, к самой двери, к запертому балкону, к пустыне за стеклом. И так же, сквозь отрицание, вещи вступают в поэзию. „Не отвязать неприкрепленной лодки, / Не услышать в меха обутой тени...“; „Не слышно птиц. Бессмертник не цветет, / Прозрачны гривы табуна ночного, / В сухой реке пустой челнок плывет...“; „Я не увижу знаменитой „Федры“ / В старинном многоярусном театре, / С прокопченной высокой галереи, / При свете оплывающих свечей“; „С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой / Я не стоял под египетским портиком банка, / И над лимонной Невою под хруст сторублевый / Мне никогда, никогда не плясала цыганка“.

Впрочем, мир человеческого бытия не сводим к населяющим его людям и вещам. Человек переживает окружающий его мир под знаком смысла; или, может быть даже, как думал Гуссерль, переживает смысл вещей до того как из этого смысла появляются сами вещи в их материальности. Этот смысл, переживаемый как первичная данность мира человеческого бытия, может быть и вечным метафизическим смыслом, и значением той или иной вещи для меня лично, здесь и сейчас, во всей ограниченности моего бытия. Субботняя хала может предстать и символом божественной заботы о человеке, и конкретной возможностью удовлетворить сиюминутный голод. Но и в том, и в другом случае смысл уже слит в нашем восприятии с простой материальностью халы, с ее хрустящей коркой и белой ватой мякиша. Оглядываясь вокруг, я почти не нахожу вещи, которая бы ничего не значила для меня; вещи обращены к человеку, будучи слиты с их смыслом. И именно так вещи появляются в поэзии. „Возьми на радость из моих ладоней / Немного солнца и немного меда / Как нам велели пчелы Персефоны“. Поэзия - это мерцание смысла сквозь материальность вещей, и это проступание упругой материальности мира сквозь призрачную ткань его смысла. „Возьми ж на радость дикий мой подарок - / Невзрачное сухое ожерелье / Из мертвых пчел, мед превративших в солнце“.

В то же время, человеческая жизнь связана с ощущением изгнания из мира подлинного бытия: из мира бытия под знаком полноты смысла. Человек воспринимает свою жизнь как несамодостаточную - как существование, которое противопоставлено некому иному бытию, в его смысловой полноте. Человек смотрит на самого себя сквозь призму должного или возможного, соотнося

свою жизнь с тем как он должен был бы или хотел бы жить. Человеческое существование несет с собой свое иное. Иначе говоря, человеческое существование – есть непрерывное смысловое самоотрицание. Это отрицание своего существования выражается как постоянная попытка различения себя (своего подлинного „Я“) и своего существования; и это попытка не неизбежно ведет к проецированию гипотетического неэкзистенциального „Я“ (того „Я“, которое как бы остается нереализованным – по ту сторону моей реальной жизни) на иную возможность существования, которую человек и называет „Бытие“. Это Бытие может быть и мечтой жить как Просто Мария и стремлением слиться с трансцендентными каббалистическими мирами. Но как чистая форма, как постоянно присутствующее иное, „Бытие“ есть часть человеческого существования. И, следовательно, напряжение между существованием и Бытием должно быть частью поэзии, которая обращена на человеческое существование „В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем, / И блаженное, бессмысленное слово / В первый раз произнесем“. Это напряжение между миром Бытия и миром существования не обязательно должно принимать форму абсолютного разрыва, но без такого напряжения подлинность человеческого бытия безнадежно ускользает.

Впрочем, даже будучи слитыми со смыслом, с его мерцающим присутствием и самоотрицанием, вещи еще не становятся миром человеческого бытия. Этот мир – это, в первую очередь, бытие во времени: напряженный горизонт будущего с его двусмысленными тенями и упругое звучание прошлого. Физическое, почти телесное, ощущение потока времени характеризует существование человека и резонирует в поэзии. „Золотистого меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: / – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, / Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела“; „Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных. / Жуют волю, и длится ожиданье – Последний час вигилий городских...“; „Промчались дни мои – как бы оленей / Косящий бег. Срок счастья был короче, / Чем взмах ресницы. Из последней мочи / Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений“. Обостренное чувство ускользающего времени становится смысловым фоном, на котором проявляется значение настоящего. Две основные характеристики человеческого существования, смысл и время, смыкаются.

Наконец, следует отметить, что бытие в мире – это бытие в культуре, в истории, с их путанным многообразием и протеевой изменчивостью. Более того, возможность отделить бытие в мире, как таковое, от бытия в истории является иллюзией. Человек воспринимает материальный мир сквозь призму культуры; и также мир отражается в поэзии. „Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина, / Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. / Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, – / Не Елена – другая, – как долго она вышивала?“. Таким образом, поэзия видит мир сквозь идеи и формы, чье появление и исчезновение являются продуктом (и значит частью) истории. Бытие человека, раскрывающееся в поэзии, – это неразделимый сплав вечных черт человеческого бытия (таких как рождение или смерть) с его историческими формами, с миром в его исторической определенности. И, следовательно, поэзия не способна перешагнуть по ту сторону истории с ее кровью и насилием. „В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна как руки брадобрея...“. „Как на Камереке глазу темно, когда / На дубовых коленях стоят города...“. „На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко! / Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо...“; „И в кулак зажимая истертый / Год рожденья – с гурьбой и гуртом / Я шепчу обескровленным ртом: / – Я рожден в ночь с второго на третье / Января в девяносто одном / Ненадежном году и столетья / Окружают меня огнем“.

И поэтому, на первый взгляд, представление о поэзии как обнажении бытия, связано с той же проблемой что и представление о поэзии, как создании эстетических форм: с проблемой подвластности истории. Но, на самом деле, существует огромная разница между созданием преходящих форм, которыми власть размечает пространственные и временные зоны своего господства, и обнажением подлинности бытия, хотя бы и во всей его неуниверсальности и историчности. Последнее, хотя и неотделимо от истории, уже не является исполнением воли власти. Более того, хорошо известно, что любая власть держится на галерее образов мира, которые предположительно являются отражением реальности бытия, но, на самом деле, призваны занять ее место в народном воображении. Колхозник у трактора, солдат с автоматом, инженер у кульмана. Обнажение существования является неизбежным разрушением этих образов. И следовательно, поэтическая речь в том ее

понимании, о котором идет речь, является разрушением машины власти. Розовощекий колхозник у сенокосилки превращается в призрак крестьян, убитых во время коллективизации и голода 33-го. „Природа своего не узнает лица, / И тени страшные Украины, Кубани... / Как в туфлях войлочных голодные крестьяне / Калитку стерегут не трогая кольца“. Независимо от степени политической ангажированности, поэзия является актом сопротивления.

В свете сказанного выше, можно определить подлинное место тех взглядов, с обсуждения которых и начиналась эта статья: оправдания поэзии как эстетической формы и как смыслового поля повышенного напряжения. Достаточно ясно что поэзия, как интуиция бытия, может существовать и вне форм, созерцание которых доставляет удовольствие. Доставка удовольствия – это не основная функция поэзии. Такие формы, однако, часто способны привлечь взгляд к несоприродной им подлинности бытия. Гораздо более важное значение имеет понимание поэтического текста как напряженного смыслового поля. Мгновенная интуиция бытия в ее сложности и одновременности требует отражения на коротком временном промежутке; иначе запах песка и горячий пустынный ветер, дальнее бляенье овец и мгновенное замирание мысли, мерцающий библейский смысл пустыни и воспоминание о барханах Средней Азии не сольются воедино, как они сливаются на самом деле, а распределятся вдоль течения времени, как они распределились в этом предложении. В отличие от простого перечисления, информационная перенасыщенность поэзии воссоздает одновременность и смысловую перегруженность бытия. „Я слово позабыл, что я хотел сказать / Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крыльях срезанных, с прозрачными играть. / В беспамятстве ночная песнь поется“. Эта же смысловая перенапряженность бытия звучит и в „Нашедшем подкову“, и в „Грифельной Оде“, и во всех остальных стихотворениях Мандельштама, цитаты из которых сопровождали эту статью. Наконец, следует сказать, что поэтическая речь в том ее понимании, о котором шла речь выше, возможна не только в поэзии, но и в прозе. Несмотря на то что в большинстве прозаических текстов существует сознательная установка на рассказывание историй, представление о сущности поэтической речи, как самораскрытия интуиции бытия, способно пролить свет на некоторые особенности той прозы, которую принято называть высокой. Во-

первых, уже Кольридж (а затем Бергсон, Хьюм, Эзра Паунд, Шкловский и вслед за последним русские формалисты и структуралисты) говорил о способности литературы увидеть мир заново, намеренно не узнать давно знакомые объекты и предметы; нечто подобное происходит в знаменитом Толстовском описании оперы, как странного и бессмысленного ритуала. Эта „остраненность“, в терминах Шкловского, напрямую связана с обращенностью поэтической речи к подлинности человеческого существования: это один из тех моментов, когда проза становится поэзией.

Хорошо известно, что в отличие от бульварных романов, та проза, которую мы называем высокой, часто отличается стилистическими особенностями, которые, в случае газетной статьи, мы назвали бы косноязычием. Этот стиль позволяет вынести за скобки нормативное понимание мира и привычные способы описания человеческого существования. И это, в свою очередь, позволяет обнажить человеческое бытие среди вещей, еще не превратившееся в иллюстрацию доктрины или „рассказ о жизни“. Тяжеловесное косноязычие Толстого, казавшееся многим его современникам главным недостатком его книг, на самом деле, является одним из их главных достоинств: оно выводит на передний план необыкновенное непосредственное чувство - интуицию бытия.

Сказанное выше не претендует на универсальность. В конечном счете, западная литература (как, впрочем, и любая другая) - это достаточно хаотическое собрание текстов, которые попали в число канонических, благодаря меняющимся критериям отбора; и последние далеко не всегда были строго эстетическими. Среди канонических текстов достаточно много разнообразных „историй о жизни“ и рифмованных философских банальностей. Но не этим текстам принадлежит будущее, и не они созвучны нашему времени. Эти тексты лишены той обнаженности бытия, лишены той единственной сущности поэтического, которая, на мой взгляд, и может стать оправданием поэзии.

Борис Голлер

О ПЬЕСАХ И ЛЮДЯХ

Две книги и одна страсть Валентина Красногорова

Фейхтвангер вспоминал, как в начале 20-х его дом в Мюнхене посетил некий молодой человек. «Был небрежно одет, жался к стенке, написал пьесу...» Но, в отличие от других молодых авторов, «не стал уверять, что только что вырвал ее из кровоточащего сердца, напротив, пытался убедить, что написал ее из чисто материальных соображений». Его звали Бертольд Брехт...

Химик, доктор наук – Валентин Файнберг тоже, скорей, расскажет вам, как однажды в Ленинграде, в конце 70-х, – на какое-то время остался не у дел. Чтоб занять себя, стал сочинять пьесу, а фамилию свою искусно перевел с идиш на русский. И что якобы так родился драматург В. Красногоров...

Конец 70-х – начало 80-х в России ознаменовались неким взлетом драмы. Что охочие до терминов (или ярлыков) критики театра вскоре назвали «новой волной» – или «драматургией пост-вампиловской». (Хотя от Вампилова, признаться, в ней было немного!) В частных разговорах, после на афишах – замелькали имена Людмилы Петрушевской, Аллы Соколовой... потом Нины Садур, Владимира Арро, Семена Злотникова... Думаю, отъезд из России в середине 70-х Нины Воронель помешал и этому серьезному драматургу вписаться в процесс создания в тот момент на Руси «новой драмы» – или, может, даже в какой-то мере явиться предтечей ее... (Почему-то тогда, как в феврале 17-го, во главе «бунта» на театре – шли женщины).

Среди названных имен, в свой час прозвучало и имя В. Красногорова.

Несмотря на различие талантов, литературных амбиций, твор-

ческих манер – у драм «новой волны» было, в самом деле, нечто общее... Не в плане стилистическом, конечно, – скорее, метафизическом. Походило на то, что случилось в свое время в драматургии английской – с выходом на сцену Джимми Поттера, героя Л. Осборна: «сердитого молодого человека» 50-х гг. Только, в отличие от него, герои новых русских пьес, так же не принимая жизнь какая она есть, были не столько «злы» («сердиты») на нее – сколько растеряны перед ней... Они что-то могли отвергнуть, даже проклясть – но активно не боролись ни с чем.

По прошествии времени легче судить, в какой мере это явление было первично в искусстве, а в какой явилось проекцией западного драматургического опыта. (Или «западно-восточного» – в частности, польского: Мрожек, Ружевич). К тому времени, естественно, авторы, о которых речь, успели пройти мастерскую европейского театра абсурда и хорошо читали Олби – особенно «Вирджинию Вулф»... (Не забудем также о параллельном развитии кинематографа и драматургии кино!)

Собственно, этой «новой волной», в критике, по-настоящему мало кто занимался. Как вообще – русской драмой XX века. Когда-то о драме писали *отдельно* – как о литературе. Но те времена прошли... И с утверждением на сцене в начале века идей Московского Художественного и в дальнейшем – принципов «самодовлеющей театральности», критика драматическая стала как-то упадать и сменяться исключительно театральной. (Погромные рецензии времен сталинщины, разумеется, в счет не идут!) Пьесами больше не интересовались – лишь «спектаклями по пьесам». Кто придумал этот термин – теперь не упомнишь!

Слава Богу, Чехова надоумило вовремя заняться прозой! Не то, возможно, тоже остался б в истории как автор «подтекстов» – или подсобных «материалов» для гениальных постановок Константина Сергеевича или Ивана Васильевича! («Теперь мы можем начать работать над этим материалом!..» – «Театральный роман».)

«Не то беда, что множество людей страдает, а то беда, что многие страдают, не сознавая этого...» Это, сохраненное мемуаристом, последнее, кажется, высказывание Лермонтова о положении в России 1841 г. – подходит, как нельзя боле, к российскому сознанию незадолго до финала большевистской эры. Массовые, но мелкие, почти незаметные, взрывы и катастрофы на семейной почве всегда служили в истории знаком надвигающихся общест-

венных катаклизмов и перемен. Большевики не зря не любили трагедий, даже – «оптимистических» (знаменитая пьеса под этим названием пролежала под запретом почти двадцать лет!) и весьма с подозрением относились к личным драмам, не исключая тем неудавшейся любви. Кто рвался «железной рукой загнать человека в счастье», был в этом смысле несомненно последователен! Перемены в итоге пришли – и вдруг оказалось, что они были предсказаны – в частности, в этих самых, что ни есть, аполитичных, локальных «домашних» драмах.

Русская пьеса «новой волны», какой она сложилась к началу 80-х, была пьесой *несчастливого* человека. Хуже того – человека, осознавшего себя несчастным... Такой герой выпадал поневоле из процесса строительства светлого будущего... Это была драматургия сгущенной прозы жизни – густого быта и бытовой нескладницы. Непонятной тоски и неудачи судьбы... Персонажи, как правило, были истериками. Как, впрочем, названные выше герои Осборна и Олби... Истерической была «любовь» у Петрушевской и у Аллы Соколовой (ее героиня, блестяще сыгранная после в кино М. Нееловой в великолепном фильме Ильи Авербаха – истерически любила некоего Бекхудова – который так и не появился, и фактически был фантомом: то есть неизвестно – существовал или нет.

Такая драма была подчеркнута асоциальна – в том и состоял ее истинно социальный смысл. Если она в итоге, со скрипом, конечно, прорвалась – *была допущена* на советскую сцену – значит, вожжи власти дрогнули в слабеющих руках!

Тогда вдруг все кинулись писать пьесы на двоих. Он и Она... «Пришел мужчина к женщине» – стало не только названием известной пьесы С. Злотникова – но содержанием, почти программой... (Мы столкнемся с этим и в творчестве драматурга, о котором речь! Всякая конкретная судьба в искусстве, конечно, индивидуальна – но несет на себе знаки общих процессов.) *«Просто встретились два одиночества – Развели у дороги костер, – Но костру разгораться не хочется...»* – поет по сей день В. Кикабидзе. Таков был почти лейтмотив нового направления...

Любая «волна» в искусстве – отлична тем, что, когда она прибывает, нельзя с точностью сказать – что она несет с собой и что в ней такого особенного – ибо самое главное вовсе необязательно находится на гребне. И лишь когда «волна» спадает, становится ясней, что таилось в глубине – и что она вынесла на берег.

Внешне судьба Красногорова-автора складывалась вполне успешно: какой неуспех, когда пьесы поставлены чуть не в ста театрах, переведены на другие языки, идут за рубежом? Но, похоже, на этом удача кончалась... Почему-то про него вспоминали печатно куда меньше, чем про других его коллег. Иногда и вовсе забывали – идут пьесы и идут! «Свой среди чужих, чужой среди своих»?.. Замалчивание в искусстве редко бывает случайным, существует некая общественная ситуация, которая в России была, конечно, производной от политики (все было этой производной), – но не сводилось к ней одной. И мы мало что поймем, если свернем все на привычные – обком, там, КГБ... Сами деятели искусств бывали порой... Впрочем, эта правда еще не сказана – и неизвестно, когда будет сказана! Во всяком случае... «Кому быть живым и хвалимым, – Кто должен быть мертв и хулим» – всегда кто-то знал. И главное – почти никогда не ошибался!.. И так называемые «прогрессивные деятели культуры» были здесь не менее ревностны, чем официоз...

Как драматург, В. Красногоров – бесспорно принадлежал к «новой волне». Но стоял к ней как-то боком... (Лодку на воде в таком случае часто переворачивает.)

Скорей всего, именно по этой причине – он вывез из России несколько десятков вполне достойных, хотя и быстро стареющих афиш, кажется, три издания пьес в коллективных сборниках и... две научно-художественные книги по истории химии и химиков. (Кстати, очень добротные.) Ни одного сборника пьес – личного, авторского... (Честь, какой достаивались, право, драматурги куда меньшего ранга!) Уже в Израиле впервые увидела свет истинно самобытная проза: «Туалет жены доцента». Такой лирико-сатирический или сатирико-лирический – срез российской «перестройки» (журнал «22», № 93). Публикация прошла, к сожалению, почти незамеченной...

А первый сборник пьес драматурга тоже вышел в Израиле – совсем недавно. С чуть вызывающим названием – «Прелести измены». Тоненькая книжка, малым тиражом – издание авторское. (Ну, так, как издаются почти все наши книги!) Параллельно явилась другая: «Четыре стены и одна страсть» – книга по теории драмы. Предпринятая автором лет десять назад почти без надежды публикации – и так и пребывавшая с той поры в рукописи, должно быть, первая такого рода попытка популярно объяснить, что такое, в сущности – драматургия. Выявить по возможности – и, может,

прежде для себя самого – некие общие законы создания пьес. И, вместе с тем, защитить пьесу как *литературу – для театра*, конечно, но именно *литературу*. (Защита, в которой все мы, драматурги, очень нуждаемся!)

Почти два с половиной тысячелетия существования драматического рода искусства внесли, как ни странно, мало нового в понимание: «драма – что же это такое?» (подзаголовок книги Красногорова). К нашему веку теория могла бы считаться вполне сформировавшейся. На деле же она недалеко ушла от идей Аристотеля и определений Гегеля. И то, что мы по привычке зовем *общей теорией драмы*, – на поверку оказывается только *историей* ее! Обширные фолианты – целые библиотеки, изыскания многочисленных специализированных кафедр в десятках университетов и театральных вузов – без конца тасуют, уже сколько лет – одну и ту же стертую колоду понятий: *действие* (внешнее и внутреннее), *сюжет, диалог, характер...* Забывая, что понятия эти, во-первых, до сих пор толком не определены. А во-вторых, и самое главное... Они сами по себе как бы и не существуют, ибо подвержены бесконечным мутациям! Каждый период в развитии драмы выдвигает свое определение их, и каждый уважающий себя драматург трактует их по-своему. В *своей системе координат...* И то, что будет прямой линией, скажем, в системе Брехта – у Островского может явиться геометрической точкой. Или вовсе ничем – «кусочком пустоты», вроде того, что жует Сноупс у Фолкнера.

Не так давно известный российский бард в своих мемуарах (кто нынче не пишет мемуаров?) этак лихо распространялся об одном спектакле: «Пытаясь восполнить *недостаток действия* в пьесе, режиссер заставил актеров *чаще перебегать с места на место*»... «О, лукошко российского глубокомыслия!» – как говаривал Писарев. Но сама обмолвка эта, конечно, не случайна. Именно такой постулат: «*действие = внешнее движение*» – внушали нам слишком долго: и режиссеры, и многие теоретики. «В театре, как в кино – слово играет последнюю роль», – изрек недавно в печати, тоже уважаемый московский театровед... Все – примеры того, насколько в зародыше у нас, все еще, теория драмы!

Победа «самодовлеющей Театральности» на театре – привела к незаметной подмене этой теории различными системами театра. В один прекрасный день слово на сцене перестало быть *действенным*. Превратившись лишь в «обслужу» безгласной пласти-

ки... Все основные теоретические *понятия* драматической литературы оказались беззастенчиво сдвинуты в сторону индивидуальных вкусов или представлений о драме отдельных режиссеров (а порой, насильственно сужены – до весьма скромных масштабов этих представлений).

Красногоров в своей книге берет на себя смелость снова и *насвежо* объяснить понятия теории – или хотя бы нащупать пути к их объяснению. Делает он это с какой-то грустной легкостью – человека, который хорошо знает по себе, на собственной шкуре – как все это непросто, в сущности – непостижимо и недостижимо: *действие, композиция, слово, ситуация, характер...* Добавим – сделано это художественно, как писателем, но вместе с тем с явной склонностью к системному мышлению, свойственной ученому. В результате книга вышла и популярной, и специальной – это редкий дар!

В другой книге «Прелести измены» – восемь пьес: шесть одноактных и две полнометражные – двухактные. Но и двухактные у Красногорова скромны по объему – ближе к одноактным. К тому ж... одно- и двухактные по природе – отличаются ж не только числом страниц? И, может, перед нами вообще – мастер одноактной драмы?.. Автор чрезвычайно скуп на слова – впрочем, как его герои.

Он и Она – любовная сцена. Разговор о свадьбе, кажется завтрашней. Объятиям героев мешают без конца телефонные звонки с поздравлениями и напутствиями... Кругом – подарки к свадьбе. Лежа в постели, герои рассматривают подарки. И вдруг прорывается главное: это – *не их свадьба* завтра! Это – *ее свадьба с другим*. (У него тоже – жена, семья...) Придумать такую ситуацию саму по себе – уже значит обладать драматическим мышлением. «Самой, что ни есть, драматической пружиной внутри», – о которой говорил Чехов. А разработать ее на коротком пространстве одноактной пьесы – всего в несколько страниц – это профессия и талант.

Вот женщина просит Его (возлюбленного, то бишь) помочь ей выбрать белье для будущего мужа. Он соглашается...

Он. Тогда сможешь мне купить заодно жене сумку.

Она. Она хочет на каждый день или нарядную?

Герои этого драматурга, как правило, ситуацией не владеют –

она владеет ими, диктует им условия, определяет их поступки, даже характер...

Она. Ведь все так просто. За неделю до свадьбы я вдруг впервые поняла, что такое любовь и что такое мужчина. И этот мужчина – не мой. И я растерялась...

И впрямь – «все так просто»! Но это и есть *верховная ситуация* драмы. Ее величество Ситуация. По Красногорову она играет в жизни особую роль...

Она. Кольца куплены, платье сшито, приглашения разосланы, родня съехалась... Мне одной уже не остановиться. И я не знаю, чего хочешь ты. Помоги мне.

Он молчит.

...он прекрасно знает – чего он хочет, но не знает, *сможет ли?* Он явно неделю назад – еще и не помышлял, что его союз с женой так несчастлив. Обычный брачный союз. Трагедия почти всех несчастных браков в том, что они не кажутся – уж такими несчастными. А может, и не являются таковыми! Просто, неделю назад...

– Сколько нам с тобой еще отпущено времени? Несколько дней? Несколько минут?..

Он молчит.

У Красногорова – это частая ремарка. За всю пьесу герой взрывается всего один раз. Да и то как-то так, больше для порядку. Назвал ее шлюхой. Она и не обиделась, вроде. Чуть ли не согласилась...

Она. ...у меня впереди целая жизнь. Без тебя. И я должна о ней подумать и ее организовать. Кто, если не я?..

На самом деле, оба думают только об одном. О том, что в финале... Завтра она выходит замуж. Завтра она ляжет спать с другим. Стало быть, завтра не свидеться. «Дожить до послезавтра!» Это и название и подтекст пьесы... Что это? Трагедия, фарс, трагифарс?..

Нужно заметить, что, в отличие от других пьес «новой волны», – героини этого автора как-то мало «взрываются». Не произносятся длинных, взволнованных речей... В сущности, не спорят с судьбой. Разве только с обстоятельствами. «Подлинные драмы творятся тихо. Звучат тихими голосами. Подлинные драмы сняты, как сны...» Любая самая взрывная ситуация подается здесь крайне

обыденно, как бы даже чуть уныло... *Неудивленно!* Будто она встречается на каждом шагу. Парадокс?.. Вероятно, это – одно из открытий автора!

Едва ли не лучшая из пьес сборника – а может, и всей драматургии Красногорова – «У каждого своя звезда». (Допускаю всю субъективность такой оценки.) Название – не самое сильное, на мой вкус. Но пьеса воистину – замечательна!

Снова Он и Она. Безымянные. Мужчина и Женщина. «Несколько часов из жизни мужчины и женщины в двух действиях». Он – артист-силовик заезжего цирка, Она – швея... «– Платят? – Делают вид. А дом требует ремонта, ухода...»

Вот, почему Она вынуждена вообще сдавать комнату, держать постояльцев – и он, по случаю, оказался одним из них. (Он здесь на гастролях, с цирком.) Вот так возникли в их жизни – эти «несколько часов»...

Вообще-то, героиня не жалуется мужчинам:

– Потому что я вижу и знаю про них все: как они храпят, кряхтят, жалуется на печень и почки, бездельничают, врут, сквернословят... Вот вы, например, – сразу видно, что неженаты.

Мужчина (*удивленно.*) Почему?

– Вы начали приставать только на четвертые сутки, а женатые норовят облапать в первый же день. <...> семейные бесятся, как будто их выпустили из заключения. Причем только на двадцать четыре часа.

После она объяснит – ему, себе?

– Потому что все вы – трусы, даже чемпионы по штанге, все вы способны только на осторожную похоть и никто – на настоящую страсть.

Очень сильно сказано – про «осторожную похоть»! И чересчур мрачно... Но это – Красногоров. Жесткая палитра. Какая-то неулыбающаяся... (Не о чувстве юмора речь – совсем про другое!) Персонажи этого автора знают жизнь – и знают, что почем в ней. Но все же... вновь и вновь, сквозь внутренние табу – очертя голову, бросаются в нее...

Сперва Женщина отвергает с порога, решительно и зло – эту вечную игру, предложенную им... (Притом, грубо предложенную. Банально.) Потом сдается как-то сразу – неожиданно и грустно-естественно. Чтоб утром испугаться и пожалеть: «– Не трогайте

меня! И запомните – ничего не произошло и не изменилось! Ничего!»

«*Косые струи дождя барабнят по стеклу*» – авторская ре-марка. Кстати, все действие начинается в дождь!.. Любовная связь, эротическая ночь – сами по себе ничего не значат. «Ничего не изменилось». Встреча не состоялась. Она состоится лишь тогда, когда... «Просто встретятся два одиночества»...

Мужчина. Разве не было желающих?

Женщина. Были. Кому нравился мой дом, кому – как я шью и готовлю, иным даже – моя внешность... Но никто не помышлял, чтобы сделать счастливой меня, понимаете – меня!

Мужчина. Ну, разве вам не встречались... ну, чтобы относились по-настоящему?

Женщина. Встречались. И это было еще хуже. Только я начинала любить, надеяться, как все кончалось. <...> Возникали какие-то обстоятельства... В общем, всякий раз меня бросали.

(Запомним эти слова – про «обстоятельства»! Нам пригодится еще...)

Мужчина. Бросали? Вас?! Наверное, вы бросали?

Женщина. Нет. Я никогда. Только меня...

...это – ЕЕ одиночество. Теперь ЕГО (хотя в пьесе они даны в обратном порядке):

Мужчина. У нас обычно женятся каждый сезон.

Женщина. И в этом сезоне вы решили выбрать меня?

Мужчина. Вы – совсем другое дело. Вы не из цирка. <...>

Женщина. Женщина-змея и красotka Стелла?

Мужчина. Нет, первая моя жена была дрессировщица. <...> Но с тигром мы, в конце концов, нашли общий язык. <...> С ней нет. Я, знаете ли, не люблю, когда меня дрессируют. <...> Потом была воздушная гимнастка. <...> Гимнасток трудно удержать. Перелетают от одного к другому...

Пытается объяснить ей вещи, совсем уж непонятные человеку со стороны...

Мужчина. А вообще, удачный брак может быть только в одном случае. <...> Когда у мужа и жены один номер.

Женщина. Простите, номер чего?

Мужчина. Муж и жена должны работать в одном номере. Иначе

им не удержаться вместе в программе. Сезон кончится – и прощай...

Она вовсе не кидается принять – эту, вдруг свалившуюся на нее, надежду на счастье:

Женщина. Вам будет скучно на одном месте.

Мужчина. Вы с ума сошли! Я сыт этой цыганщиной по горло. Я готов работать землекопом, дворником, лишь бы на одном месте. Приходить домой, спокойно ужинать рядом с ласковой и милой женой...

Они действительно – «сыт по горло», не врет! И карьера не задалась, и цирк надоел – вообще все надоело. Тогда и происходит то, что давно должно было произойти...

Женщина. *(От волнения сбиваясь и путая слова.)* Ты не думай, я вовсе не злюка и не сухарь... Я обыкновенная женщина и хочу любить. Я буду совсем другая, вот увидишь. Ты только не бросай меня, ладно? *(Не в силах сдержать слезы.)* Я буду так тебя любить... Ведь кто не мучился, тот не поймет... А я... Вот увидишь... *(Плачет.)*

Они, кажется, забыли про весь свой опыт. Они щедры и расточительны. Они строят планы...

Но в этот момент – телеграмма, какую он ждал... Из другого цирка. Гастрольная программа «Все звезды» – куда он мечтал попасть (но не надеялся уже). Все. Надо ехать! Артист! – хотя и только «силовик». Колесная профессия... А Она... Что Она?.. Она ж предвидела будущее – еще до этих «нескольких часов» – предвидела оттуда, из своего прошлого, когда говорила: «Всегда... возникали какие-то обстоятельства...»

Прощание звучит тихо, без всплеска. Она ничем невозмущается – даже тем, что он так и не заплатил ей за постой: «Получка послезавтра...» – напротив, сам просит у нее денег на дорогу. Она дает без слова: «Хватит? – Спасибо!»

Такой негромкий финал. Напомним, отличающий Красногорова. Его герои не верят в счастье – даже если временами и позволяют себе возжаждать его. «Привычка свыше нам дана...» Да, но... это – привычка к несчастью!

Я слушал эту пьесу дважды. В первый раз в Ленинграде, в Союзе писателей – уже очень давно. Только что написанную... Автор читал ее в паре с прекрасной актрисой БДТ Ниной Ольхиной.

А второй раз – в Хайфском театре, в Малом зале – года два назад. В рамках «Театральной гостиной». Всего один акт. Первый. Успех был большой. Настоящий. И я никак не мог понять – как трое участников: актер, актриса, режиссер – могли бросить такую пьесу на полдороге – не доведя работу до конца! «Не лепо ли, братие...» – Да, нелепо, нелепо!» – вышучивал некогда кого-то или что-то – молодой Эйхенбаум, жонглируя цитатой из «Слова о полку»...

Мужчина вызвал врача из платной поликлиники. У врача большое сердце. Он еле взобрался на этаж. Но у больного ничего не болит. Врач возмущен. Врачу некогда: он торопится – к другому больному. Но второй вызов сделал тот же человек. И третий тоже... Почему, зачем?.. Он одинок. Ему необходимо, чтоб его выслушали. Хотя бы только стетоскопом. В то же время, и совершенно независимо от «мнимого больного», на той же сцене – Женщина ждет возлюбленного. Ждет Любви, сызнова вторгшейся в ее жизнь – но пришел только Гость. Нет, тот самый, которого она ждала, но он оказался *не тем, не тем!*..

«– Не трогай! Я закричу. – Кто услышит? (*Срывает с нее платье.*)»...

И вправду – кто услышит?.. Потом она почти спокойно говорит в трубку, подруге:

– Да. Конечно, это я. Ничего не случилось. Тебе кажется. Нет. Так и не пришел. Я говорю – тот, кого я ждала, не пришел. <...> Нужно смотреть правде в глаза. Может, и есть на свете ОН, но мне его уже никогда не встретить...

Здесь же по сцене мечется Слепой, обращаясь к кому-то в незрячую темь: «Зачем ты это сделала? Почему ты оставила меня одного?..» И в другом углу все действие умирает Старуха «в глухом облезлом кресле».

«А в «Вечной весне» юноша и девушка – молодые, гибкие, полные жизни и любви – по-прежнему слиты...» (Ремарка автора. На сцене – статуэтка – «Вечная весна» Родена.)

Это – жизнь в разрезе, в пьесе «Пеликаны в пустыне»...

Между Мужем и Женой выросла стена. Взаправдашняя... И они с двух сторон, физически пытаются рушить ее...

Жена. (*Переставая петь.*) Не понимаю, перед кем я притворяюсь. Я вовсе не хочу петь, я хочу кричать. Ведь все могло бы быть иначе...

Муж. (*Продолжая разбивать стену трубой.*) Надо пробить хотя бы маленькую дырочку. Главное, чтоб ты меня услышала. Тогда я попытаюсь тебе объяснить. Быть может, еще не поздно...

Штурм стены с обеих сторон продолжается... («Песня на два голоса для глухих».)

Разговор глухих – чуть не главная тема Красногорова. Он без конца варьирует ее. Пестует. Для него она – единственное и абсолютное объяснение нашего *полного одиночества* в мире.

«Собака». Трагедия в двух действиях. Мужчина, Женщина, Собака...

Все происходит *на живодерне* – только в комнате, где регистрируют приведенных на смерть животных. Мужчина – это тот, кто собаку *приводит*. Женщина – это, которая *регистрирует*. А потом включает рубильник...

Мужчина. И вы их убиваете?

Женщина. (*Зло.*) Нет, повязываем розовые ленточки и водим гулять в городской парк.

Но это она уговаривает его (два акта!) не отдавать собаку на убой. Убеждает – что он убьет что-то в себе. Он и сам не хотел бы, он любит собаку, но... работа, зарплата, поездки... (он работает проводником вагонов-холодильников). Потом жена ушла, он один...

Он просит женщину взять собаку к себе, хотя бы на время – он готов платить... Но она признается, что взяла так уже четверых. Он даже успевает дважды сделать женщине предложение. Два акта диалога о жизни и смерти, о верности (больше – собачьей, разумеется), о любви, о животных, о людях... И все же, в итоге... Он уходит насовсем – оставив собаку. А Женщина с живодерни делает попытку, но так и не находит в себе сил вывести ее в тот самый коридор... Снова «два одиночества»? Но есть в пьесе и третье – может, самое страшное. Одиночество собаки, о которой речь (и которая присутствует при сем).

«Из-за стены продолжает глухо доноситься собачий вой, звучащий, как реквием»...

Эту пьесу недавно поставили в Нью-Йорке. Не знаю только, как там решили – с собакой на сцене?.. Недаром говорят – «собаки и дети слишком достоверны». («Не забудем, что мы – в самом центре фальши – в театре!») – предостерегала Цветаева).

В другой пьесе – снова Муж и Жена:

Жена. Я так устала от этой жизни.

Муж. Я тоже.

Жена. Так больше продолжаться не может.

Муж. Так больше продолжаться не может.

Жена. Надо что-то менять.

Муж. Надо что-то менять.

Жена. Если все время жить так, как не хочешь, можно сойти с ума.

Муж. Если все время жить так, как не хочешь, можно сойти с ума.

Жена. Надо что-то менять.

Муж. Надо что-то менять... («О чем ты думаешь?»)

Автор здесь нечаянно – иль напротив, нарочито – обнажает прием. Возможно, больше. Свою «биомеханику». То, из чего он «сделан»... Люди говорят одно и то же. Порою – теми же словами. Но это не помогает им понять друг друга!

Кстати, о словах... В теоретической книге Красногоров сочувственно цитирует Дидро: «талант к расположению событий встречается реже, чем талант к выбору верной речи».

Питер Брук попытался однажды заменить речи Ромео в сцене утра с Джульеттой одними обязательными словами:

То жаворонок был (*пауза*) не соловей.

Смотри, любовь моя (*пауза*),

Уйти – мне жить, остаться – умереть...

...убрав всю пышную лирическую риторика Шекспира в паузы. Что из этого вышло? Не знаю... я остаюсь на стороне Шекспира! Драма по природе – аристократка. Она пришла из поэзии, из стиховой культуры... У греческих трагиков было особое отношение к слову. Расин – плохой драматург?.. Но у него слово по значению равнозначно ситуации. Другое дело, у каждого подлинного драматурга – это *соотношение* именно *свое!* То есть *свое место слова.* Своя зависимость – между *словом, ситуацией, характером.*

У меня некогда вышел спор – с драматургом В. Константиновым. (Одним из соавторов пьес Константинова и Рацера.) Он жаловался: «Прозаики нас не понимают! Они не хотят признать, что диалог по принципу: «– Хочешь чаю? – Хочу...» – тоже может быть

искусством!» Я ответил ему: «А может, и правда – не нужно этих слов в драме?» Я по этому поводу много спорил. Со многими. *Мне казалось всегда: человек выходит на сцену, чтобы сказать самое главное.* Потому... диалог драматический – он совсем иной, чем в жизни. По градусу переживания, по ритму...

Почему ж тогда такой простой, – даже намеренно сниженный порой, диалог героев Красногорова так волнует меня?... Вероятно, все истинное в искусстве способно воздействовать на нас – и вне зависимости от наших собственных художественных пристрастий. «Драматическая пружина» красногоровских пьес, в лучших его вещах, так сжата, что и самые простые слова работают на самых высоких оборотах.

Тут пора, должно быть, вернуться к теории – и к Красногорову-теоретику... Мы имеем дело с драматургом, который утверждает: «*драматический писатель – творец ролей, а не характеров*». Согласны мы с ним? не согласны?..

Что значит *роль*?.. Литературный образ, дающий возможность создания полнокровного характера на сцене? Или только некий *знак*, который вкупе с другими такими же *знаками* – помогает нам создать на сцене *образ* той или иной действительности? Отбросим второе определение – отнеся его, в основном, к «театру абсурда». При всем уважении к нему и к его создателям – их смелости и таланту, – скажем прямо: это все-таки оказался тупиковый путь! Обратимся к драме в обычном смысле... К роду искусства... который справляет уже, ни много, ни мало – два с половиной тысячелетия.

Характер драматический чуть размыт по природе. В сравнении, скажем, с прозой... В нем должна присутствовать некая неопределенность... Загадки – с возможностью разных отгадок. В нем изначально – далеко не все может быть объяснено. Он должен быть приспособлен к «расширению»... За счет личности актера, его индивидуальности. Даже внешнего облика, каким его нам дал Господь. Это требует от него в литературном плане – особых свойств: амбивалентности, возможности трансформирования – в том числе, и в воображении зрителя. Мы должны уметь воспринимать *разных гамлетов*. И талант драматурга, среди прочего, в том, – чтоб дать театру, актеру этот *материал для варьирования*... (На театре еще любят слово «импровизация».)

Но это вовсе не значит, что характер в драме отсутствует. Или не столь существен... И Гамлет и Андрей Болконский – характеры.

Только... Характер Болконского не нуждается в перенесении на сцену! Сама проза Толстого – и сцена, и зрительный зал. А более всего – готовый отснятый фильм, которому не нужен Бондарчук! Михаил Ромм, ведя прием на режиссерский курс, особенно строго спрашивал с поступающих именно знание Л. Толстого. Кстати, этим знанием на экзамене поразил его абитуриент Тарковский. А комиссия ВГИКа, вопреки мнению Ромма, упорно пыталась завалить двоих: В. Шукшина и А. Тарковского! Нет, но какое чувство, а?

Но и в самой драматургии... Мы говорили выше о различных «системах координат» разных драматургов. Это касается, чуть не в первую очередь, – проблемы характера... Красногоров почти прав, замечая, что «Гамлет» Шекспира – не столько безукоризненная пьеса, сколько великая роль. Только надо заметить... Шекспир вообще не был мастером «сделанной пьесы» – как был им, скажем, Оскар Уайльд. Шекспир был «елизаветинцем» – в те времена в пьесах ценилось другое... То, что он дал возможность Гамлету хоть ненадолго выйти за пределы Эльсинора – ошибка в композиции с нашей сегодняшней точки зрения. (А чего стоит эта надуманная глупость с пиратами?) Вступивши в Эльсинор после брака матери – Гамлет может выйти из него только мертвым. В этом смысл пьесы – и величие Шекспира. Но... Как легко ругать Шекспира – тому, кто не написал «Гамлета»! И даже Толстому! Он одарил нас в своих книгах десятками полнокровных характеров, они существуют для нас вживе... Мы любим их, мы ими восхищаемся. Но он не создал, надо признать, – *ни одного архетипа!* Подобного Гамлету или Лиру... Или, уже в прозе, – Дон Кихоту. Гамлет – потому и великая роль, что это – не просто, личность – *архетип личности*. «Человек для любой поры»... Некая, непередаваемая – *абстрактная конкретность*. Шекспир дал нам в этом образе самоощущение особого рода... с которым мы не можем расстаться – уже до конца своих дней...

Разговор о Шекспире в книге Красногорова выявляет еще одно свойство автора... Пусть кто хочет уповаet на наитие. Наитие – прекрасно само по себе, если существует *профессия*. «Ремесленник – я знаю ремесло!» – с гордостью восклицала Цветаева. Красногоров, как теоретик и практик драмы, не боится обнаружить свою опору на ремесло.

«*Творец ролей, а не характеров*» – пожалуй, не совсем точно – в общем виде. Но удивительно верно – по отношению к

драматургу В. Красногорову. Здесь секрет писателя. Его опыт. Эстетика. «Характер человека есть его демон, в конечном счете – его судьба», – это знали еще греки... И определения *теоретика* – помогают нам понять *писателя*. В частности, его место в той, сложной по составу, художественной среде, которая называлась «новой волной» русской драматургии конца 70-х – 80-х гг. И здесь выход книг Красногорова – так вот, двух, разом – имеет несомненно еще один смысл... Вместе они как бы создают портрет конкретного художественного поколения. Выражая собой – и *теоретически*, и *практически* – вполне определенный этап в развитии русской драмы нашего века.

Все «волны» в искусстве, все «новые направления», «движения» всегда упирались в один тупик: они должны были страх как бояться маргиналий. Крайностей собственных художественных идей. Притом страх этот внутренний: рождается, как правило, не извне, а *изнутри* явления...

Чехов – гениальный драматург. Может, самый оригинальный в веке XX-м. Он проложил дорогу многим создателям пьес. Иные из них были – масштабом дарования не меньше его. Однако всем, кто отправлялся за ним и по его следам, нужно было непременно помнить о пропасти, к какой вели его открытия – и в какую бесстрашно заглянул он сам. Он-то смог пройти по-над самым обрывом, не убоившись: он был гений, и знал – *где край*. (Может, в том и состоит гениальность?) Знал, где кончается поэзия и начинается «проза жизни», «Ионыч»... Непереваренный быт. Но на эту бесплодную землю, бесстрашно (в отсутствии истинного дара), не ощущая *границы*, – ступили и продолжают ступать – многие последователи его. Полагая в наивности, что Чехов, школа Чехова – это и есть – «все, как в жизни». Так плодились один за другим «*сценарии для постановок*» – вместо *пьес*. (Вспомним снова: то была эпоха параллельного бурного развития кино! И драма позамимствовала у кино многое – в том числе, в избытке, «киношное» отношение к слову!) То, что полонило собой пост-чеховский театр нашего времени, особенно театр русский: пост-мхатовский. Так мы пришли к драматургии Дворецкого и дворецких...

Искусство всегда развивается толчками. Циклами. «Шаг вперед – два шага назад» – используя словцо редко цитируемого ныне автора. Но все поступательные движения в искусстве и впрямь чреваты отступлениями. Импрессионисты были великими художниками. Первооткрывателями. «Творцами мгновения»

в живописи и так далее...», им и впрямь удалось на холсте «остановить мгновение». Но они же были и величайшими натуралистами в искусстве!

Пусть это был своеобразнейший натурализм! Поэтический. Но натурализм! И в ту секунду почти, как победа импрессионизма в живописи стала очевидной – *внутри течения* (подчеркнем) возникло сразу несколько художников, которые, используя его открытия, повернули прочь от края... мышлению вненатуралистическому. Условному. – Это был шаг назад и вперед одновременно. Сезанн, Ван-Гог, Гоген... Не откуда-нибудь, а из театра Станиславского пришли и Мейерхольд, и Вахтангов, и Михаил Чехов, и Алиса Коонен... То же было с неореализмом – в итальянском и европейском кино. Феллини говорил в одном интервью: «Когда Росселлини снимал «Рим – открытый город», он же не знал, что создает неореализм. Потом вокруг неореализма решили возвести стену и водрузить знамя. А теперь удивляются и негодуют, что Росселлини и я перескочили через эту стену...»

Красногоров-драматург – несомненно из тех, кто «перескочил через стену»... С «новой волной» хлынул на сцену «сгущенный быт»?.. Что ж... Он станет «творцом ролей, а не характеров». Ситуаций, в которых самые разные характеры поневоле *будут вынуждены* вести себя примерно одинаково... Ситуация по Красногорову определяет собой *роль, какую нам дано сыграть* в этой жизни.

В том и состояло открытие драматурга. Его новация... (Которая сперва, наверное, могла быть и не так заметна!) «Новая волна» с приставкой *«пост»*... Возможно, это сделало его «чужим среди своих»... Среди коллег и соратников он и вправду мог казаться чуть не абстракционистом. Не это ли привело к невольному замалчиванию сделанного им?..

Некто, хорошо знакомый с творчеством драматурга – или даже он сам, быть может, возразит мне, что есть у автора и другие пьесы. И не хуже, между прочим! Вполне «реальные». «Дело Бейлиса», например, или «Ноги женщины = 2»... Можно назвать еще... Их у автора пьес – два десятка, не менее... И вообще, драматург на русской сцене зарекомендовал себя в свое время как автор комедий – и, похоже, любит писать комедии. А тогда все приведенные нами рассуждения – вроде от лукавого, частный случай. Нечто, имеющее отношение только к сборнику «Прелести измены» – маленькому сборнику о восьми пьесах: две двухактные, шесть одноактных, 143 страницы всего!

Наверное! Только... автор этих заметок, в свой черед, убежден: конек данного драматурга, то, в чем он – мастер, его главный жанр – трагифарс с откровенным тяготением к трагическому началу. И... по интуиции или вполне рационально, но он составил свой первый сборник очень точно: не скажу, из лучшего – это дело вкуса! – но из самого характерного для него. В этой сфере, в драме нашего времени, у Красногорова – «свое лицо и своя походка в воздухе». Именно здесь пред нами несомненно – крупный драматург и теоретик драмы, только времени не самого благоприятного – для драмы, для театра. Что ж! Подождем!..

А итог? Ну, итог... Боже мой! В 64 года – первая тоненькая книжечка пьес! И столь же скромная по объему – по теории драмы. «Не лепо ли, братие?..» Да, нелепо. Нелепо!..

Как выглядит ангел смерти и куда исчезают надоевшие жены,
убийство премьер-министра при помощи каббалы
и секреты преуспевающего бизнеса –

читайте в новой книге

Я К О В А Ш Е Х Т Е Р А

**ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ
БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ**

«Это – нетривиальная проза...»

– считает Дина Рубина.

«...Богом дарованный талант...»

– пишет Анатолий Алексин.

*«...Шехтер возвращает нас к главному, во имя чего
вообще существует истинная литература...»*

– утверждает Эфраим Баух.

«Он любит и умеет искать свое слово...»

– отмечает Григорий Канович.

230 страниц, 25 шекелей

Заказы по телефонам: 08-9457588, 050-927768

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Александр Воронель

ПОЛИТИКА ПРИШЛА НА «РУССКУЮ» УЛИЦУ

На любом уровне развития общества какая-то его часть по своим возможностям оказывается ниже среднего и может быть определена как „слабая“, а другая (обычно меньшая) часть оказывается „сильной“. Не стоит разбирать причины, по которым люди попадают в ту или иную категорию, потому что эта тема неисчерпаема, но несомненно, что в одну из них они обязательно попадают. Политические силы, какую бы фразеологию они на вооружение ни принимали, различаются по тому, как они относятся к этим двум группам.

В далеком прошлом сильные, свирепые люди безраздельно господствовали во всех обществах, и это казалось тогда естественным всем, кроме разве еврейских пророков. Когда в христианских странах идеи пророков соединились с греко-римскими формами организации, возникли зачатки того механизма, что теперь зовется демократией. На „родине демократии“, в Англии партии „тори“ и „вигов“ различались по своему отношению к традиции, представлявшей интересы „сильных“ членов общества. С тех пор это различие воспроизводится во всех странах, часто под видом столь же сомнительного деления на „правых“ и „левых“. Суть этого различия всячески затуманивается политическими интересами сторон, но все же трудно скрыть, что правые обычно ориентируются на сильных, а левые – на слабых. В реальной политике и те, и другие применяют риторические дымовые завесы и обходные маневры, но суть дела проясняется, когда речь заходит о свободной конкуренции. Ясно, что „свободная конкуренция“ – это конек сильных.

Однако сила „сильных“ всегда перекрывается численным перевесом „слабых“. Поэтому „равенство“ – это идеология слабых. Только в условиях равенства их слабость и может проявиться как сила.

Успех политиков в условиях демократии зависит от числа поданных за них голосов, т.е. в конечном счете от слабых. Одна из опасных характерных особенностей слабых слоев состоит в том, что их трудно соблазнить долговременными проектами. Развитие образования, коммуникаций и высоких технологий, снижение инфляции, свободный обмен валюты и ликвидация государственного долга, хотя и обещают со временем процветание всему обществу, не выглядят привлекательными в глазах людей, с трудом доживающих до полочки. Поэтому политики демократических стран вынуждены прибегать к демагогии и передержкам, имеющим целью сделать долговременные программы приемлемыми для широкого избирателя и вместе с тем не лишит его надежды на прямую пользу сразу после выборов. Чем „слабее“ этот избиратель, тем большего он ожидает от политиков, потому что тем меньше он надеется на себя самого. Между тем, для каждой индивидуальной жизни оптимальны, конечно, только индивидуальные решения, которые лишь в слабой степени могут зависеть от политического курса. Таким образом слабый избиратель сам требует, чтобы „его обманули“.

Реальные общества не могут сохранять долговременную стабильность, если сильные, богатые граждане не склонны в какой-то степени поделиться со слабыми (например, в форме пропорционального налогообложения). Но, если мера этого участия лишает их мотивации (например, налог съедает больше половины их прибыли) и общество оказывается в плену популистских лозунгов, оно перестает развиваться и быстрыми шагами идет к нищете. Необходимость бороться за популярность заставляет все партии в какой-то степени идти навстречу слабым слоям, но одновременно реальные экономические и военные нужды заставляют их опираться на сильных. Поэтому политические партии стало теперь невозможно различить. Все они провозглашают своей целью и развитие свободной экономики, и поддержку социально слабых, и снижение инфляции, и повышение занятости. А также „мир и безопасность“.

200 000 русских олим в 70-х и 700 000 в 90-х годах влились и уже достаточно интегрировались в израильском обществе.

Представляют ли они собой сильную или слабую группу?

По уровню образования, по избыточной энергии, которая потребовалась им, чтобы перебраться из России в Израиль, обе эти группы несомненно состоят, в основном, из сильных людей. Социо-

логическое обследование в 70-х показало, что и по своему благосостоянию большинство олим уже через три года превосходит средний израильский уровень. Значительная группа репатриантов сделала карьеру, открыла собственные компании, преуспела в науке и искусствах. Однако, вместе с тем, недостаточное знание языков, отсутствие деловых связей и трудности ориентации в новой среде заставляют множество русских репатриантов чувствовать себя слабыми в сравнении с их самооощущением в стране исхода. Значительный круг среди репатриантов оказался просто в тяжелом материальном положении. Такая ситуация открывает возможности для успешной политической деятельности на „русском“ поле.

В этом номере опубликованы статьи, которые удачно характеризуют „русскую“, технократическую психологию в сочетании с русской мечтательностью.

Дискриминация евреев в России за полвека превратила их в привилегированный слой, построивший всю свою жизнь на квалифицированном труде, подчиненном идее технического прогресса. Однако значительная часть той гуманитарной культуры, которой владели прошлые поколения, при этом необратимо выветрилась, и это отсутствие снижает возможности взаимопонимания нашей группы с другими общинами в Израиле.

Любая „русская“ партия со спокойной душой может объявить свои интересы по увеличению числа рабочих мест в лабораториях, клиниках, университетах и музыкальных школах совпадающими с интересами всего государства. Удешевление жилья и повышение качества школьного образования – тоже не узко репатриантские проблемы.

Важно не само осознание проблемы, а ее расположение на шкале национальных приоритетов. Бесконечная тяжба с арабами дает возможность нашему истеблишменту откладывать на потом все реальные проблемы, из-за которых только и стоит думать о политике: качество жизни, уровень образования, права и обязанности, экология. Поэтому все реальные проблемы, от которых зависит наша каждодневная жизнь, оказались в компетенции малых партий, и перед „русскими“ независимо от их первоначальных намерений выросли общенациональные задачи.

Теперь русские евреи, и особенно после выборов, получают шанс опробовать все свои идеи в реальных условиях самоуправления и проверить их эффективность в масштабе всего общества.

«ШОК ПЕРЕМЕН» И КУЛЬТУРА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Россия и Израиль переживают кризис. Однако кризисное состояние страны не всегда несет в себе одни только опасности, порой в нем содержится и потенциальная возможность бурного прогресса. Так бывает в тех случаях, когда курс выхода из кризиса совпадает с направлением развития человечества. Есть ряд примеров того, как, твердо взяв такой курс, странам удавалось, что называется, догнать и перегнать других. Но для этого прежде всего, конечно, надо найти и достаточно четко наметить верный курс.

Со второй половины восьмидесятых годов сперва в СССР, а затем в Израиле на моих глазах произошли массовые всплески великих надежд и переход от них к горьким разочарованиям и шоку дезадаптации.

В СССР надежды вселила в людей начинавшаяся перестройка. Но что бы ни делали для выхода страны из кризиса реформаторы во главе с Горбачевым, желаемых результатов им добиться не удавалось. Вот как об этом говорил сам автор реформ (цитируется по отчету о пребывании Михаила Горбачева в Литовской ССР в газете „Правда“ от 13 января 1990 года): „В начале перестройки был выдвинут лозунг: „Ускорение за счет научно-технического прогресса“... И вот мы начали поворот, но потом увидели, что нынешняя система хозяйствования отторгает эти наши подходы. И тогда мы поняли – и провозгласили: нам нужна радикальная экономическая реформа... Начали заниматься этими делами, видим, что и этот процесс сдерживается. Чем? Командно-административной системой... Так мы подошли к политической реформе“. Однако уже на следующий день было заявлено о необходимости сделать новый

шаг: „Мы подошли к тому, что в нашем многонациональном государстве ничего не сделаем, если не займемся федерацией, положением народов, их судьбой“ (отчет о пребывании Горбачева в Литовской ССР, „Правда“ от 14 января 1990 года). Но и это не дало желаемого эффекта.

Наоборот, начавшаяся разработка, а затем согласование федеративного договора, так называемый „новогаревский процесс“, вызвали в августе 1991 года выступление ГКЧП.

Победа над „ГКЧПистами“ породила еще один, кратковременный взлет надежд, но опять, что бы ни делалось уже другими реформаторами („шоковая терапия“, приватизация, трансформация политической системы, монетаристское регулирование экономики и т.д.), у большинства россиян жизнь либо не улучшилась, либо даже ухудшилась. И это касается не только и даже не столько материальной, сколько психологической стороны жизни. Люди в основном не сумели благополучно адаптироваться (приспособиться) к происходящим переменам, резко увеличившим свободу выбора, с которой им не удается справиться. То есть они так и не выбрались из ситуации дезадаптации, у них так и не прошло (а просто стало привычным) состояние шока, вызванное реформами, принесшими в жизнь массу новых проблем принятия решений, для которых нет готовых, отработанных в прошлом вариантов образа действий. Между тем навыки рационального принятия решений у россиян отсутствуют. Отмечу, что помимо радикальных внутренних преобразований и во внешнем окружении России происходят коренные перемены, связанные с развалом социалистического лагеря и Советского Союза на фоне его глобального поражения в холодной войне. Все вместе это привело к тому, что не только граждане России, но и вся она, как государство в целом, пребывает в шоке дезадаптации.

Главной характеристикой социально-психологической сферы нынешней России является то, что преобладающая часть ее населения живет в шоке дезадаптации, который я буду называть „шоком реформ“, и это состояние людей омрачается еще и разочарованиями в недавних радужных надеждах на прекрасное будущее.

В Израиль великие надежды принесла в начале девяностых годов волна репатриации (алии) из Советского Союза. Эйфорией тогда были охвачены не только сами репатрианты, но и старожилы,

и коренные израильтяне. Пресса того периода была полна радужных прогнозов ученых и журналистов, подсчитывавших тысячи специалистов высокой квалификации – инженеров, врачей, программистов, ученых и т.п., на подготовку которых Израилем не было истрчено ни гроша, между тем как ее стоимость – миллиарды долларов. Используя эти колоссальные профессиональные, творческие, трудовые ресурсы, утверждали авторы прогнозов, Израиль в ближайшие годы выдвинется в число лидирующих в техническом прогрессе и качестве жизни стран мира, таких, например, как ФРГ или Япония.

К настоящему времени и в области высоких технологий, и по жизненному уровню Израиль продвинулся вперед, но ожидавшегося крутого подъема, резкого выдвижения в мировые лидеры не произошло. Дело, на мой взгляд, в том, что основная роль в реализации потенциала алии оказалась предоставленной рынку, который, как предполагалось, должен был стихийно (а значит, наиболее естественно) отделить зерна от плевел и обеспечить расцвет наиболее плодотворного из того, что принесла с собой алия. Но для этого израильский рынок недостаточно развит. К тому же хозяйство Израиля по структуре кардинально отличается от советского. Вот и получилось, что репатрианты привезли с собой массу идей и проектов, но большинство из них так же, как и созидательные возможности тысяч специалистов, не нашедших рабочих мест, соответствующих их уровню квалификации, остались не реализованными, не востребованными, не оцененными по достоинству сложившимися в Израиле структурами и истеблишментом.

Разочарование в них предопределило успех на выборах вышедшей в 1996 году на политическую арену страны партии „Израэль ба-алия“ – она представила себя репатриантам как инструмент, посредством которого они возьмут в собственные руки дело своей интеграции в израильское общество. Успех „Израэль ба-алия“ вызвал в алии кратковременный взлет надежд, но положение большинства обнадуженных – репатриантов – не улучшилось. Они, подобно россиянам, живут в состоянии шока, который, правда, имеет другое название – „культурный“, но по психологическим последствиям мало чем отличается от шока реформ, т.к. и в Израиле обусловлен ситуацией дезадаптации в условиях резко возросшей свободы выбора. Причем и здесь для многочисленных новых проблем принятия решения, вставших перед репатрианта-

ми, нет готовых, отработанных в прошлом вариантов образа действий. Как и в отношении России, отмечу, что в состоянии дезадаптации в Израиле находятся не только граждане – в данном случае главным образом репатрианты, – но и вся страна в целом. Израиль переживает коренные изменения как в нем самом – массивную алию из экс-СССР, увеличившую за несколько лет еврейское население страны почти на четверть, и образование палестинской автономии, так и в его окружении – процесс мирного урегулирования с арабскими соседями на фоне прекращения противостояния двух сверхдержав на Ближнем Востоке и превращения мировой политической системы из двуполярной с полюсами в Москве и Вашингтоне в однополярную.

Что же препятствует тому, чтобы означенные надежды оправдались и усилия реформаторов в России и лидеров алии в Израиле увенчались успехом, а главное, как устранить препятствие?

Решить эти два судьбоносных для России и Израиля вопроса значит выработать эффективные средства адаптации в ситуации резко изменяющейся (либо новой) среды, отличающейся значительным возрастанием свободы выбора и возникновением незнакомых вопросов принятия решений.

Такие средства адаптации станут через 10-15 лет тем, что будет пользоваться наибольшим спросом во всем мире. Как следует из общепринятых воззрений футурологов, человечество окажется к тому времени в ситуации сугубой дезадаптации. Практически все серьезные прогнозисты придерживаются мнения о том, что вскоре произойдет переход современного постиндустриального общества в информационное. Последнее будет обладать следующими особенностями:

а) Информация станет основным продуктом, производство, переработка, распределение которого займут существенное место в трудовой деятельности большинства работающих. Более того, информация (в виде компьютерных программ, инструкций для роботов и т.п.) превратится в наиболее распространенное средство производства. В результате начнутся радикальные изменения структуры профессионального рынка, а значит, и специального образования. Нынешняя большая определенность по поводу существования и статуса в будущем тех или иных профессий снизится, т.к. одни профессии станут быстро устаревать и исчезать либо

меняться до неузнаваемости, а другие – возникать и развиваться.

б) Многократно возрастет скорость накопления информации, обязательной для освоения индивидуумом. В первой половине XX столетия период удвоения знаний по специальности в среднем примерно равнялся периоду трудовой деятельности человека – тот мог овладеть при получении образования базовыми знаниями по профессии и затем, осваивая нововведения, появившиеся в посильном для восприятия темпе, оставаться на достаточном уровне компетентности. За последние полвека период удвоения знаний по специальности сокращался все быстрее и быстрее и по некоторым оценкам ныне составляет в среднем полтора года (по другим, самым умеренным оценкам – 10 лет). По общему мнению, ускорение накопления знаний будет нарастать и к 2010 году период их удвоения в соответствии с рядом прогнозов уменьшится до невообразимой цифры в 3-6 недель (в наиболее осторожных предсказаниях речь идет не о неделях, а о месяцах, что тоже довольно трудно себе представить).

в) Прогресс медицины, биотехнологии и фармацевтики в массовом порядке поставит вопросы такого значительного вмешательства в естественный ход физического существования человека, какому нет аналогов в истории. Поэтому в решении этих вопросов окажется невозможным опираться на какие-то нормы или прецеденты.

Таким образом, при переходе к информационному обществу ситуация дезадаптации будет повсеместной. Человечество ожидает „шок будущего“, как называют футурологи разновидность шока дезадаптации, соответствующую грядущему информационному обществу. Поэтому решение **судьбоносных ныне для России и Израиля** вопросов разработки и внедрения методологии и средств адаптации общества **в недалеком будущем станет жизненно важным и для всего человечества**. Что делает означенное решение вдвойне судьбоносным для России и Израиля, поскольку, выработав и внедрив у себя средства адаптации, эти страны не только выберутся из теперешнего кризиса, но и окажутся лучше других подготовленными к существованию в рамках информационного общества, более того, при переходе к нему будут иметь хорошие шансы рывком выдвинуться на передовые позиции в мире еще и благодаря своему первенству в разработке, производстве и распространении методологии и средств адаптации. То есть направле-

ние развития цивилизации в настоящее время таково, что решение проблем адаптации обеспечивает быстрее продвижение в данном направлении.

Итак, суммируя вышесказанное, подчеркну, что 1) двумя главными особенностями социально-психологической обстановки в России и в Израиле (здесь особенно у алии) является шок дезадаптации и разочарование в недавних надеждах достичь в близком будущем уровня процветания; 2) переход человечества от современного постиндустриального к информационному обществу вскоре повсеместно вызовет шок дезадаптации; 3) если в России и Израиле будут выработаны и внедрены эффективные средства адаптации общества, это позволит данным странам не только выйти из нынешнего шока дезадаптации, но и создаст плацдарм для выдвижения на передовые позиции в мире, а значит, предоставит реальную возможность оправдать несбывшиеся надежды.

Ясно, что если бы приведенные выше судьбоносные вопросы, стоящие перед реформаторами в России и лидерами алии, имели очевидные ответы, последние давно были бы уже найдены.

В конце семидесятых годов в России я приступил к исследованиям в области математической обработки данных для принятия решений. Меня занимала тогда только математическая сторона дела, но в книгах по этой тематике, которые были сплошь американскими, помимо математики давались и примеры ее применения в реальных процедурах принятия решений, как общественных, так и личных. Причем подробно излагались их ход и техника. Об общественных решениях мне тогда судить было трудно, но в отношении личных я обнаружил, что ход и техника моих решений совсем не такие рациональные, как у американцев.

Через несколько лет началась перестройка, и моя тематика из сугубо теоретической превратилась в практическую. С группой психологов и социологов я стал участвовать в проведении выборов и деловых игр, посвященных решению важных вопросов обновления деятельности предприятий и организаций. Это дало уникальную возможность понаблюдать других людей в процессе принятия решений, после чего мне стало ясно, что не я один такой нерационалист. То же подтвердили и начавшиеся вскоре телевизионные трансляции заседаний Съездов народных депутатов и Верховного Совета СССР. У меня возникла гипотеза о том, что специфические отклонения от рациональности в принятии решений присущи не

только мне, они являются характерной особенностью советской культуры.

Здесь и далее имеется в виду процедурная рациональность, т.е. рациональным полагается такое принятие решений, в процессе которого скрупулезно выявляется проблемная ситуация, собирается вся существенная информация, относящаяся к решению, грамотно вырабатываются возможные варианты выбора и проводится глубокий анализ при определении наиболее предпочтительного из них. А культура в данном случае понимается в антропологическом или поведенческом смысле, как совокупность исторически сложившихся моделей жизни и деятельности – явных и неявных, осознанных и неосознанных, рациональных и нерациональных, – которые существуют в обществе в качестве потенциального руководства к поведению людей. Такое понимание культуры на Западе соседствует с другим, ориентированным на материальные и духовные ценности и овладение ими. В этом, втором смысле культура представляет собой предметные результаты деятельности человека (машины, сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т.д.), а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития и т.д.). В России в понятие культуры принято вкладывать как раз этот, второй смысл. Если россияне ведут речь о культуре поведения, под этим обычно подразумевается воспитанность – вежливое обращение с окружающими, соблюдение этикета и т.п. Это не значит, что в России отсутствует явление, определяемое как поведенческая культура. Само явление присутствует в той же мере, что и на Западе – нет лишь четко оформленного представления о нем.

В 1990 году я репатрировался в Израиль, где получил возможность научными эмпирическими методами проверить возникшую у меня в СССР гипотезу, изучая, как принимают решения репатрианты из экс-СССР, и сравнивая их в этом отношении с выходцами из Северной Америки. Израиль для межкультурных исследований такого рода – идеальное место, поскольку представляет собой нейтральную среду, к которой необходимо адаптироваться и „русским“, и „американцам“, как здесь называют репатриантов из экс-СССР и США. Израиль „посередине“ между Россией и Америкой и в развитии рыночной экономики, и в степени демо-

кратизации-бюрократизации административной сферы страны, и по уровню жизни, и во многих других аспектах. Поэтому сопоставительный культурологический эксперимент получается чистым – сравниваются люди **одинаковой** национальности (евреи), которые „русскими“ и „американцами“ являются как раз только по культуре, причем и те, и другие изучаются вне своих родных культурных сред в **одинаковых** условиях примерно **одинаково** новой для них третьей среды. Последнее, к тому же, способствует, выражаясь фигурально, „выходу рациональности наружу“, т.к. ни „русским“, ни „американцам“ в Израиле нельзя полагаться на интуицию, выработанную в прежних средах обитания.

Данные вышеозначенных сравнительных исследований показали, что определенные конкретизированные мною отклонения от рациональности в принятии решений, действительно, гораздо чаще встречаются у „русских“, чем у „американцев“. Между тем из теории известно, что при адаптации организаций к изменившимся условиям существования успех зависит от рациональности. Эмпирическая проверка подтвердила предположение о том, что выводы теории адаптации верны не только для организаций, но и для отдельных индивидов. Выяснилось, что те „русские“ репатрианты, у которых отклонения от рациональности в принятии решений были сравнительно велики, как правило терпели неудачи в деятельности, требующей адаптации. Значит, и в процессах, требующих адаптации людей и структур – реформах в России и интеграции репатриантов из экс-СССР в израильское общество, – неудачи проистекают от нерациональности.

Чтобы лучше уяснить природу отклонений от рациональности, о которых идет речь, имеет смысл обратить внимание на высказывание (а скорее, проговорку) Владимира Ленина о том, что русские – талантливый народ, но умников среди них нет, и если в России встречается дельный человек, то это обязательно либо немец, либо еврей. К ленинскому мнению в данном отношении стоит прислушаться, поскольку так грандиозно манипулировать русским народом, как это ему удалось, невозможно было без великолепного понимания России и россиян. Высказывание Ленина, известное из очерка о нем Горького, сделано в пылу полемики (что, по-видимому, и обусловило проговорку), поэтому оно звучит слишком безоговорочно. Для первой его части, которая, на мой

взгляд, верна и ныне, я бы предложил более взвешенную формулировку: среди россиян необыкновенно много талантливых людей, но очень мало рационалистов. Вторая часть высказывания справедлива для начала века, когда российские немцы и евреи были еще немцами и евреями по культуре. За семьдесят лет тоталитарного коммунистического режима они окультурировались – это главный вывод всех культурологических исследований о советских немцах и евреях, с которыми я знаком и по литературе, и по докладам на международных конференциях и германо-израильских симпозиумах по иммиграции. То есть нынешние взрослые российские немцы и евреи по культуре являются советскими людьми, в частности, отклонения от рациональности у них те же, что и у других по национальности представителей российско-советской культуры.

Итак, российский нерационализм – явление не национально-генетической, а национально-культурной природы. А раз так, то фраза „среди россиян необыкновенно много талантливых людей, но очень мало рационалистов“ должна в гораздо большей степени вселять оптимизм, чем огорчать. Ведь если талантливые люди осознают свой нерационализм, поймут, что в нем основная причина их постоянных неудач и наберутся решимости все сделать, чтобы его скорректировать, то перед ними откроются прекрасные перспективы.

Создание и отработка деятельности механизмов и сил „рационализации“ субкультуры принятия решений и даст искомые методологию и средства адаптации общества к резким переменам в нем. Следует подчеркнуть, что основой действенной борьбы с дезадаптацией могут быть только средства столь фундаментального характера, как преобразования субкультуры принятия решений.

Вот, например, опасности надвигающегося шока будущего уже около тридцати лет назад выявлены Элвином Тоффлером. Им и его единомышленниками для предотвращения этого шока предложены разнообразные конкретные рецепты личностного, образовательного, технологического и социального характера. Но подавляющее большинство из них даже не пытались реализовать. Правящая элита не стала раскручивать коппанию по внедрению в

общественное мнение великих опасений по отношению к шоку будущего. Без чего и западное общество оказалось недостаточно рациональным для того, чтобы в нем простые люди пришли к решению о необходимости предпринимать усилия по предотвращению опасности, которая еще не переросла в беду. Это по-видимому предчувствовал и сам Тоффлер, который на последних страницах своего знаменитого труда „Шок будущего“ подчеркнул, что рассматривает его прежде всего как диагноз надвигающейся на человечество опасности, а не рецепт избавления от нее.

Данные обстоятельства подталкивают к выводу: чем более сложна ситуация дезадаптации (переход к информационному обществу, очевидно, будет сложнее всего, имевшего место в истории человечества), тем более высокий уровень рациональности требуется для того, чтобы успешно адаптироваться. И в любой частной ситуации дезадаптации, будь она связана с реформами, иммиграцией, переходом к информационному обществу или другим резким изменением среды обитания, не эффективно полагаться на какие-то частные, предназначенные только для этой конкретной ситуации рецепты адаптации, если рациональность адаптирующихся недостаточна. Они либо просто не примут решение о реализации данных рецептов, либо изберут не лучшие из возможных рецептов.

Здесь для иллюстрации сошлюсь на известную житейскую ситуацию, когда человек с очень ослабленным организмом пытается избавиться от постоянно преследующих его простуд, принимая при насморке специальное лекарство от насморка, при кашле – от кашля, при ангине – от ангины и т.д. Но какие бы частные, специальные рецепты при различных видах простуды он ни использовал, все равно обречен то и дело простужаться, пока не применит общее средство – укрепление организма.

В случае дезадаптации таким общим средством является повышение рациональности.

Если в России и(или) в алии начнется процесс корректировки отклонений от рациональности, то постепенно станет сокращаться количество ошибок в принятии решений, а следовательно, и неудач в деятельности россиян и(или) репатриантов. Из-за чего, конечно же, у них уменьшится и шок дезадаптации, и разочарование по поводу несбывшихся надежд. Так, опосредованно, повышение ра-

циональности способно вызвать позитивные изменения в психологическом состоянии россиян и репатриантов. Но в сфере психологии гораздо больше, чем это опосредованное позитивное влияние рационализации, будет ее непосредственный положительный эффект. Я имею в виду избавление от угнетенности, которая, как установлено Эрихом Фроммом, охватывает людей, когда им трудно сориентироваться в ситуации возросшей свободы выбора – а именно в такой ситуации находятся россияне и репатрианты.

В своей классической работе „Бегство от свободы“ Фромм показал, что „структура современного общества воздействует на человека одновременно в двух направлениях: он все более независим, уверен в себе, критичен, но и все более одинок, изолирован и запуган“. В первом Фромм видит „позитивную“ свободу, второе же приводит к тому, что „индивид оказывается „свободным“ в негативном смысле, то есть одиноким и стоящим перед лицом чуждого и враждебного мира“.

„Однако чувство изоляции и бессилия индивида, ощущаемое множеством так называемых невротиков, нормальным средним человеком совершенно не осознается.“ На это следует обратить особое внимание. Оказывается, трудность не только в неочевидности решения проблем россиян и репатриантов, но и в том, что эти совершенно ясные вроде бы проблемы на самом деле имеют и неочевидное содержание. „Осознать его слишком страшно – и человек прячет его под рутинной своих повседневных дел, под признанием, которое он находит в личных или общественных связях, под деловым успехом и целым рядом развлечений... Но одиночество, страх и потерянности остаются. Люди не могут терпеть их вечно. Они не могут без конца влачить бремя „свободы от“; если они не в состоянии перейти от свободы негативной к свободе позитивной, они стараются избавиться от свободы вообще. Главные пути, по которым происходит бегство от свободы, – это подчинение вождю, как в странах с **тоталитарными** режимами, и вынужденная **конформизация**, преобладающая в нашей демократии“.

Фромм коротко остановился и на третьем пути – „**разрушительности**“, – который в 1941 году, во время завершения его работы, не представлялся ему главным. Ныне, когда тоталитаризм отступа-

ет, а стремление к разрушению, наоборот, превращает в террористов все больше и больше людей по всему миру, уже не так ясно, что из них „главнее“. Несомненно одно – самым главным путем бегства от свободы является „автоматизирующий конформизм“, выражающийся в том, что в современных демократиях „свободный“ человек на самом деле живет чужими, внушенными ему обществом мыслями, чувствами и желаниями. Вследствие чего „индивид превращается в робота, теряет себя, но при этом убежден, что он свободен и подвластен лишь собственной воле“. Однако, как показал Фромм, данный путь лишь „смягчает невыносимую тревогу, избавляет от паники и делает жизнь терпимой, но не решает коренной проблемы и за него приходится зачастую расплачиваться тем, что вся жизнь превращается в одну лишь автоматическую, вынужденную деятельность“.

Таким образом, в современных демократических обществах, с одной стороны, не решена коренная психологическая проблема индивида, с другой стороны, она „нормальным средним человеком совершенно не осознается“. Этот парадоксальный вывод выглядел бы очень уязвимым, если бы исходил от ученого, являющегося только философом-теоретиком. Но Фромм еще к тому же был и выдающимся психоаналитиком, основателем неофрейдизма. Его вывод базируется на эмпирических данных, накопленных в ходе обширной практики аналитической психологии, исследующей прежде всего как раз неосознанное в психике человека. Психоанализ послужил эффективным инструментарием для описания вскрытой Фроммом проблемы, но путь ее решения, указанный в „Бегстве от свободы“, оказался не столь эффективным. Призыв Фромма к „спонтанному поведению“ остался чем-то вроде благого пожелания. Вероятно, потому что не сопровождался предложением инструментария, при помощи которого можно было бы определить и осуществить такое поведение на практике. Не совсем ясно, как достоверно распознать, спонтанно ли поведение или нет, и совсем неясно, какие конкретно действия для обеспечения его спонтанности надо предпринимать. То есть Фромм блестяще поставил диагноз, но метод лечения, который он рекомендовал, не приспособлен для практической реализации.

На мой взгляд, эффективно снять выявленную Фроммом проб-

лему психологической угнетенности „негативной“ свободой можно, используя инструментарий науки принятия решений. Сперва следует уточнить, в каких жизненных ситуациях „нормальный средний человек“ наиболее остро ощущает собственную беспомощность. Ведя речь о свободе, Фромм прежде всего имел в виду свободу выбора. Именно многообразие ситуаций и вариантов выбора в важных жизненных вопросах в условиях сложного, чуждого и не понимаемого глубоко мира сильнее всего давит на человека. С одной стороны, он осознает, как велика может быть цена нерационального решения, с другой – не знает, как выработать рациональное решение. Поэтому некомпетентный в принятии решений индивид „бежит“ от решения, либо передоверяя его какой-то высшей силе – вождю, государству, идеологическим или религиозно-фундаменталистским предписаниям (тоталитарный путь), либо уничтожая причины, побуждающие принимать решение „разрушительный путь), либо копируя решения наиболее характерные в подобных ситуациях для той среды, к которой принадлежит индивид (конформистский путь).

В результате, согласно Фромму, „невыносимая тревога смягчается“ и „жизнь делается терпимой“, но не более того – глубинное ощущение неуверенности не покидает „нормального среднего человека“, как правило незнакомого с наукой принятия решений. Очевидно, чем чаще такой человек встает перед решением важных не повторяющих друг друга, новых для него вопросов, тем прочнее в нем укореняется неуверенность. То есть чем в большей мере положение индивида требует адаптации в условиях увеличившейся свободы выбора, тем сильнее его растерянность и беспокойство. Ясно, что индивидуальные состояния неуверенности и дезориентации, складываясь вместе, формируют соответствующую общественную психологическую атмосферу. Однако большинство живущих в такой атмосфере видят причины ее возникновения в каких-то социальных неурядицах, а не в самом состоянии дезадаптации, обостряющей ощущение бремени „негативной“ свободы. В России, например, растерянность и беспокойство, охватившие общество, „нормальные средние люди“ объясняют материальными трудностями или отсутствием порядка, принесенными перестройкой и постперестроечными реформами; на их взгляд, это реакция

не на сам факт резкого изменения всего строя жизни в сторону увеличения свободы выбора, а на то, что социально-экономические условия жизни ухудшились. Конечно, в формирование атмосферы неудовлетворенности вносит вклад и падение уровня жизни. Но является ли этот вклад определяющим? У многих россиян материальное благосостояние увеличилось в последние годы, но они тоже испытывают неуверенность и разочарование. У большинства репатриантов из бывшего СССР уровень жизни возрос после их переезда в Израиль, однако состояние беспокойства и неудовлетворенности у них очень похоже на нынешнее психологическое состояние россиян. В положении и тех, и других общим является одно – недостаточная приспособленность к новым ситуациям, в которых резко выросла свобода выбора. Причем ситуации совершенно разные, а психологический эффект – тот же. Замечу, что и репатрианты из экс-СССР не связывают этот эффект со своей дезориентированностью в ситуации увеличившейся свободы выбора, поскольку им комфортнее объяснить его какими-то внешними, не зависящими от них причинами, например, трудностями интеграции в израильское общество.

Итак, исследования Фромма свидетельствуют, что бегство от свободы в привычной жизни делает последнюю терпимой, и „нормальный средний человек“ не осознает свою глубинную неуверенность перед лицом сложного мира с большой свободой выбора. Логично поэтому, что когда привычная жизнь меняется на ситуацию дезадаптации, в которой свобода выбора резко возрастает и неуверенность, усугубившись, вырывается наружу, люди тоже не осознают, что в их психологический дискомфорт основной вклад вносит растерянность ввиду необыкновенно увеличившихся возможностей выбора.

Таким образом, важнейшая нужда россиян и репатриантов из экс-СССР, не осознаваемая ими, – избавиться от тягостной неуверенности, владеющей ими при дезадаптации в условиях сильно возросшей свободы выбора. Конкретными источниками этой неуверенности являются ситуации принятия решений по важнейшим жизненным проблемам, в которых люди не знают, как найти рациональное решение. В качестве выхода из данного положения они либо передоверяют решение авторитету (аналог тоталитарного

пути по Фромму), либо поступают, копируя поведение окружающих в подобных ситуациях (конформистский путь), либо стремятся уничтожить причины, порождающие проблемные ситуации (разрушительный путь). Но эти попытки обрести уверенность „вне себя“ – на самом деле лишь „бегство“ от неуверенности, не избавляющее от нее, как показал Фромм. Истинную уверенность можно обрести лишь „в себе“, она может появиться только у человека, который овладел грамотой принятия решений, он компетентен, он „из себя“ знает, что решение рациональное, поскольку оно было грамотно им принято. Значит, рационалистическое преобразование субкультуры принятия решений является, в частности, **существенным фактором улучшения психологического состояния россиян и важнейшим психологическим аспектом оптимизации интеграции репатриантов в израильское общество.**

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

предлагает книгу

АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ

« В П Л Е Н У С В О Б О Д Ы »

Сборник историко-литературных эссе, посвященных анализу социальных процессов, преобразивших Россию и Израиль в XX веке. Автор рассматривает эти процессы как своеобразную религиозную Реформацию. Центральная проблематика книги сосредоточена вокруг вопроса о смысле и ограничениях понятия «свобода», о чем говорят заголовки ее разделов:

1. Свобода как неосуществимый проект.
2. Свобода в практическом применении.
3. Свобода как исполнение завета.

304 стр. В Израиле – 36 шек. Вне Израиля, с пересылкой – 16 долларов.

Чеки и заказы посылать по адресу:

"Moscow-Jerusalem", P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440. Israel.

ЕВРЕЙСКИЕ МОЗГИ – ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?

Представим, что по экономическим соображениям правительство Израиля приняло решение обучить сто тысяч израильтян поднимать стокилограммовую штангу. Немедленно после получения финансирования правительственной программы народ ринется тренироваться. Безусловно, народ в целом от этого станет крепче телом. Но означает ли это, что задача, поставленная правительством, будет выполнена?

Общепринято мнение, что экономическое будущее Израиля критически зависит от успеха высокотехнологической индустрии (хай-тек). Действительно, отсутствие естественных ресурсов, малые размеры страны, а, следовательно, и ее внутреннего рынка, приводят к выводу, что иного пути роста экономики просто нет. Настоящая заметка, пожалуй, относится к классу эссе, т.е. „короткой литературной композиции, имеющей отношение к одному предмету, обычно с персональной точки зрения и без попытки достигнуть полноты изложения“ (словарь Вебстера). Предметом этой заметки является перспектива израильского хай-тека.

Автор этих строк побывал в прошлом профессором в США, а ныне – профессор Тель-Авивского университета. У него также есть опыт обеспечения финансирования и управления новыми компаниями (так называемые старт-апс) в Израиле. Этот опыт позволяет иметь ту самую „персональную точку зрения“, которая необходима для написания эссе. Это эссе написано в неподцензурном стиле и потому многие табу современного демократического общества, как-то: существование врожденных способностей, статистическое неравенство в умственных способностях между разными группами населения и т.п., здесь игнорированы.

Совсем нетрудно сказать: „Давайте будем развивать хай-тек“. Значительно труднее выбрать стратегию для достижения такой цели. Много факторов могут повлиять на выработку стратегии. Среди них наиболее значительный фактор – влияние мировой экономики и глобальной политики. Мы не должны быть настолько наивны, чтобы представлять себе, будто Израиль может иметь существенное влияние на мировую политику. Наша стратегия всегда будет зависеть от иностранных государств. Следующим по значимости фактором можно назвать региональную политику. В этом масштабе нашим влиянием нельзя пренебречь, но, по мнению автора, глядя в будущее, можно предположить, что „богатый и жирный“ Израиль не будет в состоянии предотвратить иммиграцию масс нищих арабов в Палестинское государство и даже ограниченную репатриацию их в Израиль. Политическая ситуация в следующем десятилетии будет не более устойчива, чем можно ожидать от фронтовой линии, разделяющей мусульман с „неверными“. При любом сценарии наша борьба за выживание требует развития сильной экономики, а, следовательно, и сильного хай-тека.

Точного определения хай-тека не существует. Общепринято мнение, что под хай-теком следует понимать области промышленности, в которых ноу-хау гораздо важнее „грубой силы“. Интуитивно, хай-тек связан с наукоемким развитием, а не с улучшением или увеличением продукции.

Действительно, под хай-теком в Израиле понимаются следующие области: компьютерное производство (включая электронику и программное обеспечение), средства связи (электроника и программное обеспечение), биотехнология, а также мини- и микроустройства в других областях промышленности. Главное, что ожидает общественность от хай-тека, – это быстрый и многократный возврат капиталовложений. Вкладчик обычно строит свои планы по схеме: изобретение – прототип – биржа (или продажа компании). Любой проект хай-тека – это симбиоз технологической новинки и маркетинговой идеи. В большинстве случаев маркетинг зависит от большой иностранной компании и вклад израильтян в маркетинг заканчивается после заключения соглашения об оптовой продаже с иностранной компанией-гигантом.

Большинство технологических успехов в новых компаниях не являются результатом исследований, выполненных на средства,

полученные из частных источников. Истинные источники технологий или изобретений могут быть разделены на следующие категории. Изобретения, украденные у государства (армия, РАФАЭЛЬ (израильский институт развития средств обороны), университеты); изобретения, украденные из больших компаний бывшими сотрудниками этих компаний и изобретениях, привезенные репатриантами из стран Восточной Европы. Большинство новых компаний хай-тека базируются на изобретения, которые могут быть оспорены в суде. Тем не менее доказать незаконность использования изобретения исключительно сложно, и поэтому очень редко мы видим такие процессы в израильском суде.

Успех технологической части проекта зависит от трех факторов: самого технологического новшества (назовем его изобретением, понимая однако что далеко не всегда это действительно изобретение), финансирования и работников компании. Оставим в стороне фактор изобретений, источник которых обсуждался выше. Израильская пресса очень любит обсуждать вопрос финансирования компаний. Иностранцы вкладчики, государственные источники, частные израильские вкладчики... Является ли действительно проблема финансирования столь серьезной? В большинстве случаев ответ на этот вопрос отрицателен. Сравнивая список вкладчиков в хай-тек в США и в Израиле, нетрудно прийти к заключению, что израильтяне не уступают в этом вопросе своим американским коллегам. Более того, опыт автора в области финансирования начинающих компаний показывает, что для действительно перспективных проектов предложение денег превышает спрос. Конечно, ни одного из этих источников недостаточно для проекта базирующегося на долгосрочных исследованиях, но количество идей и даже почти готовых изделий, украденных у государства Израиль и бывшего СССР, таково, что нет никакой необходимости финансировать долгосрочные проекты. Большинство разумных проектов могут быть очень быстро проданы вкладчикам за 70-80% акций. Поддержка новых проектов правительством важна, но не является критической для проекта.

А что мы можем сказать о человеческом факторе – людях, которые создают будущее изделие? Кто-то должен создавать программное обеспечение или разрабатывать электронные платы, делать эксперименты с медицинским оборудованием или средствами связи. Общественность и ее представители (кнессет, пра-

вительство) рассматривает эту проблему как проблему образования и подготовки кадров. Проблема выглядит очень простой: мы увеличим количество студентов в университетах и колледжах, откроем новые курсы и т.д. Можно ли поверить, что подобное решение кто-либо предложит для подъема уровня балета, шахмат или литературы? Верит ли кто-нибудь, что можно обучить большую часть населения поднимать 100 кг?

В западном обществе все большую силу набирает дух "political correctness" – американский термин, соответствующий осторожности в высказываниях или „приклеивании ярлыков“ той или иной группе населения. Этот дух не позволяет открыто признать, что не всех можно обучить программировать и часть населения не сможет достичь познаний в квантовой механике с помощью государственного финансирования даже в том случае, если проведет дни и ночи в попытках овладеть наукой.

Любовь древнего Рима к изящным искусствам привела к необходимости „импортировать“ таланты из Афин. Проекты ракетостроения в СССР и США в послевоенное время базировались на вывозе из Германии лучших специалистов. Развитие хай-тека в США диктует практически свободную эмиграцию специалистов в Америку. Я действительно верю, что евреи – наиболее интеллектуальная часть населения земного шара, но даже если принять, что они сильнее остальных на среднеквадратичное отклонение (см. книгу "The Bell Curve" – результаты многолетнего исследования Гарвардского университета), размеры Израиля приведут к заключению, что нам очень тяжело конкурировать на мировом рынке хай-тека.

Читатель может не согласиться со мной. Действительно, успехи Израиля на этом рынке в 90-х годах прочат инвесторам райские сады. Тем не менее люди, занятые в этой промышленности, прекрасно сознают, насколько тяжело найти подходящих работников для создания нового товара. Газеты полны предложениями о работе, но на практике все кончается переманиванием работника одним менеджером у другого, что приводит только к увеличению затрат на создание нового изделия. В 90-е годы много интеллектуально сильных людей прибыли в Израиль из России. Влияние репатриантских мозгов и репатриантского образования на развитие израильского хай-тека было одним из решающих факторов подъема. Поток эмигрантов с высоким IQ прекратился в 1994 году, и на

сегодняшний день мы свидетели оттока этих людей в США. Мы должны искать мозги, мы должны использовать их источники внутри страны и мы должны импортировать мозги.

Не будем себя обманывать – наша возможность в тренировке (физической или умственной) очень ограничена. Конечно, мы должны дать нашим детям как можно лучшее образование. Конечно, это отразится на успехах в хай-тек и других областях экономики, но влияние образования на наше экономическое развитие не решит всех проблем.

Используем ли мы правильно наши лучшие мозги? Мой ответ на этот вопрос отрицателен. Мы не делаем этого, потому что наша система образования не поощряет молодых людей. В нашей стране непропорционально много молодых способных людей, которые выбирают сферу обслуживания (адвокаты, врачи, менеджеры) и не идут в сферу производства. Давайте обсудим возможные пути исправления этой ситуации и попытаемся не ограничивать себя „социальными табу“, существующими в западном обществе. Давайте разделим нашу дискуссию на две части – источники мозгов и развитие мозгов. Первая задача – это задача импорта мозгов, тогда как вторая – это задача образования и правильного использования внутренних ресурсов.

На сегодняшний день единственный путь импорта мозгов – это репатриация. Пятьдесят лет назад много евреев США, Европы и СССР были вовлечены в развитие науки и техники. Невозможно переоценить их вклад в создание лазеров, компьютеров и бомб. Сегодня количество евреев, изучающих точные науки, резко уменьшилось. В США большинство еврейских юношей и девушек идут во врачи, адвокаты и менеджеры. Пятьдесят лет назад среди аспирантов лучших американских университетов в области физики и математики было много евреев. Сегодня их места заняты китайцами, индусами и корейцами. Даже в современной России интересы молодых евреев повернулись в сторону бизнеса. Мы должны „охотиться“ за молодежью, которая еще не приняла решения о своей будущей работе.

В прошлом привлекательность Израиля в глазах молодежи, в основном, базировалась на романтике борьбы с врагами. Постоянно отступающий Израиль полностью потерял эту привлекательность. Единственным путем привлечь способную молодежь может быть комбинация остатков романтики (все же Восток...) и хорошее

финансовое вознаграждение. Мы должны не только предоставить возможность бесплатного образования каждому способному еврею в мире, но и платить ему за то, что он живет в Израиле. Способные молодые люди всегда уделяют много времени учебе и работе, и у них нет времени на долгий подбор пары, что приводит к увеличению вероятности женитьбы в Израиле. Безусловно, более вероятно найти таких людей в России или Аргентине, чем в США. Иной путь привлечения способных – эмиграция в Израиль неевреев. Главные источники таких людей – Китай, Индия и Россия. Я не стал бы огульно отвергать возможность открыть ворота Израиля перед ограниченной эмиграцией технологической элиты. Не надо забывать, что индус-профессионал своим трудом может обеспечить едой двадцать израильтян.

Использование внутренних источников способных людей в хайтек не менее важно, чем их импорт из-за границы. В первую очередь необходимо поощрение изучения математики, физики, химии и биологии в школах Израиля. Совершенно очевидно, что относительная легкость экзаменов сейчас диктуется социальными причинами, но мы должны расширить возможности соревнования между способными, мы должны рекламировать их имена в газетах, на радио и телевидении. В пятидесятые годы США и СССР вели такую политику в отношении своих ученых – ученые были баловни прессы. Мы должны сделать способных молодых людей известными всей стране. Истинное соревнование между ними возможно только при условии, что мы сконцентрируем их в спецшколах. Мы должны выделить способных на как можно ранней стадии. Гораздо важнее выдвижение „скородумов“, чем выдвижение „скороходов“. Спортивные общества Израиля платят молодым спортсменам. Мы должны платить способным! Израиль – это часть американизированного мира, и деньги являются лучшим вознаграждением за усилия и успехи. Нет ничего плохого в том, что двенадцатилетняя девочка получит 700 шекелей в месяц за победу в районной олимпиаде. Двести тысяч долларов поддержки министерства промышленности, выделяемой новому бизнесу, позволяют принять на работу трех программистов. Такое же количество денег позволит дать пятьдесят юношеских стипендий.

Совершенно недопустимо, что талант из бедной семьи не может

получить высшего образования. Одновременно с этим, распространение большого количества колледжей и курсов, обещающих „светлое хай-тек будущее“ всем желающим исключительно вредно. Правительство не только должно прекратить финансовую поддержку таких начинаний, но и не давать лицензий Министерства образования этим институтам. Разумно создать новую систему государственных тестов, ориентированных на хай-тек способности. Государственная помощь и государственные лицензии должны быть ориентированы только на лиц, преуспевших в таком тесте.

Дополнительным источником мозгов в Израиле являются ортодоксальные евреи и арабы. В настоящий момент уже существуют курсы для программистов-ортодоксов, но для настоящего прорыва эта инициатива нуждается в прямой поддержке главных религиозных авторитетов. Такая поддержка может привести к резкому увеличению использования громадного интеллектуального потенциала этой группы. Арабские граждане практически находятся вне сферы хай-тек. Если в прошлом можно было оправдывать такую политику тем, что основная деятельность этих компаний была ориентирована на оборону, то сегодня это уже не так. Представители 20% населения Израиля должны найти свое место в этой промышленности.

Развитие хай-тека влияет также на социальные аспекты жизни. Мой академический и промышленный опыт показывает, что почти всегда (за исключением особо талантливых, а иногда и странных людей) граница между „скородумом“ и тугодумом лежит в районе 650 (по шкале израильского психотеста). Такая граница может быть определена значительно четче при принятии предложенного выше специального теста.

Каждый талант в хай-теке обеспечивает еду для двадцати тугодумов. Сколько бы усилий общество ни предприняло на развитие простых (по технологии) производств, размеры Израиля, отсутствие естественных богатств и его географическое положение неизбежно приведут к тому же сценарию: таланты будут кормить тугодумов. При этом одной из важнейших задач общества всегда будет не только поддержка высокого уровня жизни талантов, но и поддержание атмосферы, позволяющей тугодумам чувствовать, что они нужны обществу. Но это тоже задача для талантов.

Другим аспектом социальных проблем, связанных с IQ, можно

назвать быстрое старение мозгов. В хай-тек промышленности опыт, превышающий пять лет, представляет интерес только у менеджеров. В большинстве случаев, человек в 40-45 лет почти полностью теряет способность создавать новое. Пенсионный возраст работника хай-тека такой же, как у балерин. Совершенно очевидно, что не все уходят в менеджеры, а следовательно, общество должно обеспечить нормальную жизнь молодым пенсионерам, что является исключительно интеллектуальной задачей.

Я хочу предложить создание при правительстве совета по хай-теку. Такая комиссия должна состоять из ученых и промышленников и должна быть непосредственно подчинена главе правительства. Я рассматриваю проблему хай-тека как проблему всего еврейства и, следовательно, хочу предложить, чтобы большинство членов такой комиссии были бы евреи диаспоры, так как их влияние на мир хай-тека значительно больше, чем у израильтян. Я уверен, что время диктует создание такой комиссии как можно раньше.

Развитие хай-тек – это одна из главных задач нашего общества. Мы должны осознать важность интеллектуально одаренных людей. Продуктивная часть жизни этих людей всего 20 лет, и мы должны помочь им накормить нас. Мы также не должны забывать, что в наши обязанности входит также и обеспечение уважения в обществе тугодумам. Это позволит нам действительно повысить качество нашей жизни. Я нисколько не сомневаюсь в осуществимости такой задачи.

Вышла в свет книга стихотворений и поэм

Наума Басовского

« С В О Б О Д Н Ы Й С Т И Х »

(240 стр.)

Цена в Израиле – 37 шек.,

в других странах – 15 долларов США, включая пересылку.

Обращаться к автору по тел. 03-9500662

Адрес: Nachum Basovsky, Ben Zeev Str. 8/22, 75289 Rishon Le-Zion, Israel.

ОПЫТ ПАРАДОКСАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

„Не было бы счастья – несчастье помогло“. „Нет худа без добра“. „Добрыми намерениями выстелен путь в ад“. – Парадоксальный опыт бытия.

Ему противостоит непротиворечивый подход, основанный на последовательности бытия и на сохранении ценностей. – „Что посеешь, то и пожнешь“. „Как аукнется – так и откликнется“. И т.п. Историческая наука и социология основаны именно на этом подходе. Любопытно, что на последовательность и сохранение опираются и религия, и массовое сознание. Как и наука, они не терпят парадокса.

Но если бытие, как назло, противоречиво, почему бы не попробовать так и представить его – как парадокс? И, для начала, начать с середины.

Дано: двенадцать (плюс-минус) миллионов человек, треть из которых живет в государстве Израиль, а две трети рассеяны по всему свету, так что собрать их вместе может только Мессия или всемирный погром, упаси Бог, называют себя евреями.

Вопрос: являются ли она народом?

Ответ: да, являются.

Другой ответ: нет, не являются.

Вопрос: каким образом может существовать народ, который не есть народ?

Ответ: он может существовать как еврейский народ.

Вопрос: может ли такой народ иметь собственную государственность?

Ответ: да, может, как и всякий народ.

Другой ответ: нет, не может, потому что он не такой как все.

Вопрос: какого рода государство может быть у народа, который не есть народ?

Ответ: государство, которое не есть государство.

Вопрос: это как же?

Пример: у государства есть территория и границы. А у парадоксального государства территория есть, а границ – нету.

Вопрос: как может быть территория без границ?!

Ответ: если граница между двумя территориями принадлежит обеим, то у каждой территории есть граница. Но если одной из территорий граница принадлежит, а другой – нет, то последняя оказывается территорией без границы.

Вопрос: может ли такое быть?!

Пример: чтобы попасть на территорию дома, нужно попросить разрешение войти, но чтобы выйти на улицу, разрешения не нужно. Территория без границы – это как дом, только наоборот: разрешение нужно, чтобы выйти на улицу, а вход – свободный. И именно такого рода территорией является... государство Израиль по отношению к репатриантам.

Однако вековая мечта еврейского народа состоит не только в свободном входе на территорию Израиля, но и в свободном выходе. А это уже другой тип безграничной территории. В этом случае территории государств мира, сохраняя границы между собой, лишь в территорию Израиля должны переходить без границ.

Вопрос: может ли такое быть?!

Ответ: поскольку территория Израиля является религиозно-историческим домом для большинства человечества, отсутствие границ с ней может быть желательным не только для евреев.

Другая особенность парадоксального государства состоит в том, что его граждане могут быть не его гражданами и наоборот. И это не выдумка. Таково двойное гражданство, признанное как в Израиле, так и в других странах.

Вопрос: если еврей может быть, скажем, англичанином, то может ли англичанин быть евреем?

Ответ: по маме, один – англичанин, другой – еврей, а по Господу Богу, все – евреи. То есть и неевреи – евреи отчасти, и евреи – отчасти неевреи. И если у еврея может быть второе, нееврейское, гражданство, то и у нееврея может быть второе, еврейское, гражданство, коль скоро он сознает себя евреем.

Следующая особенность парадоксального государства – это общий язык, который не есть общий язык. Так, государство Израиль – многоязычно, даже всеязычно, хотя есть и общий язык. Как и второе (первое!) гражданство необщий язык объединяет израильянина со страной исхода, ее культурой, ее историей. Парадоксальное государство и его язык оказываются областью пересечения всех языков, культур и исторических традиций. Евреи-репатрианты пропиты ими. „Выживание из репатрианта нееврея“ – это насилие, аналогичное антисемитизму, „выжимающему еврейство из нееврейской среды“. Непротиворечиво-еврейское государство – это та же Черта оседлости, только очерченная изнутри.

Отказываясь от своего еврейства, еврей отказывается от самого себя. Но и отказываясь от своего нееврейства, он отказывается от себя самого – такова парадоксальная реальность еврейской истории. Поэтому государство непарадоксальное, не опирающееся на парадокс как на фундамент, оказывается, практически, анти-еврейским, как и любое антисемитское государство, неприемлющее парадокс еврейства.

Но в аналогичной ситуации оказываются и неевреи антисемитских (национально-замкнутых) государств, если мировая культура дорога им не менее, чем национальная. Они также подвергаются „выдавливанию“, несмотря на национальную принадлежность к государству.

„В сём христианнейшем из миров поэты – жиды“ (Цветаева). И не только поэты, но и вообще люди транснациональной культуры. Причем, именно распространение монотеизма сделало дополнение национальной культуры и истории ненациональной культурой и историей не только возможным, но и жизненно необходимым. Так что государства-затворники оказались отстающими.

Парадокс заключается в том, что только национальная культура может быть транснациональной. Национализм – непротиворечиво последователен. Но и универсализм – непротиворечиво последователен. И оба в равной мере губительны для культуры. Чисто национальная культура ограничена, а чисто универсальная – безлика, как эсперанто. Это – две стороны одного и того же заблуждения, что бытие непротиворечиво. Кстати, именно поэтому перегиб к универсализму неизменно сопровождается перегибом к национализму.

Бытие, к счастью, парадоксально. (К счастью, потому что непротиворечивое бытие – это небытие). Так, национальность дополняется национальностью, которая не есть национальность – транс-национальностью. Из этого-то парадокса и образовался иудаизм. Нееврей, принявший еврейскую религию, оказывается евреем и по национальности. Гиур равнозначен рождению от матери-еврейки. И это потому, что монотеизм транснационален. Но парадоксальность бытия этим не исчерпывается. Транснациональный монотеизм дополняется т р а н с р е л и г и о з н о с т ь ю, то есть религией, которая не есть религия. И выйдя за границу монотеизма, перестав быть иудеем, христианином, мусульманином, человек оказывается не мусульманином, не христианином, не иудеем, то есть буддистом, синтоистом, зороастристом или... нерелигиозным евреем. И это независимо от национальной принадлежности (ведь и еврей, отошедший от религии, как бы уже и не еврей вовсе).

Однако, на самом деле, парадоксальность не упраздняет непротиворечивость, а д о п о л н я е т. (Тогда как непротиворечивость стремится к упразднению парадоксальности – Закон исключенного третьего). Поэтому парадоксальная национальность – это не без-национальность, также и парадоксальная религиозность – не без-религиозность. Трансрелигиозный еврей может быть и религиозным, и нерелигиозным. А трансрелигиозный нееврей может быть... евреем. Для парадоксального сознания в этом нет ничего неестественного. Но неприятие парадоксальности вносит путаницу и вешает на трансрелигиозного человека ярлыки: „жидофил“, „безродный космополит“, „бездуховный атеист“ и т.п. Что однако не мешает „жидофилу“ чтить национальные традиции, „безродному космополиту“ – быть патриотом, а „бездуховному атеисту“ жить напряженной духовной жизнью.

Но вернемся к парадоксальной государственности.

В отличие от непротиворечивого государства, которое есть самозакрытие народа, отделения его от прочих народов, парадоксальное государство образуется в процессе самораскрытия народа. Как и самозакрытие, оно осуществляется на различных уровнях: национальном, экономическом, историческом и т.д.

Парадоксальная государственность на национальном уровне – это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, принципиально открытые для всех наций.

В парадоксальное государство экономического уровня превращается Европейское сообщество.

Исторический уровень парадоксальной государственности остается пока вакантным. Но естественным претендентом на его осуществление является... государство Израиль. И непонимание парадоксальной динамики, сопротивление ей только задерживают его развитие.

У национального государства есть прошлое, но нет будущего. С тех пор, как национально-еврейская государственность была разрушена, многое изменилось. В частности, земля Израиля стала Святой землей почти всего мира. Закрывать ее обратно – значит, „плыть“ против истории: задача, требующая огромного напряжения и обреченная на неудачу. Национально-еврейское государство было, но его уже нет. Зато парадоксально-еврейского государства еще не было, но оно **м о ж е т б ы т ь**.

Транснациональная территория принадлежит всем народам и государствам. Но принадлежать **в с е м** – значит не принадлежать никому в отдельности. Транснациональность обеспечивает территории парадоксальный суверенитет. Покушение одного на принадлежащее всем вызывает всеобщее противодействие. Поэтому транснациональная территория не нуждается в собственных средствах обороны. Ее неприкосновенность оказывается ключом к стабильности мирового сообщества.

На транснациональной территории образуется транстерриториальное государство или государство **с д и а с п о р о й**. Причем, диаспорой оказывается весь мир. Но парадоксальное государство не упраздняет государства исторически сложившиеся, а **д о п о л н я е т** их.

У парадоксального государства исторического уровня **н е т** собственной истории, и вместе с тем вся мировая история – это его история. Поэтому и диаспора его парадоксальна.

Если иудейская диаспора была **р а с с е я н и е м** из центра, то парадоксальное государство – это центр, **о б р а з о в а н н ы й** **р а с с е я н и е м**. В нем пересекаются все культуры и исторические пути. (Слово „все“ не следует понимать буквально. Бытие сложнее всеобщности и непременно включает не всеобщность. Однако, всеобщность оно тоже включает). Положение парадоксально-исторического государства в чем-то подобно положению Ватикана в христианском мире. Отличие же состоит в том,

что парадоксально-историческое государство трансрелигиозно, то есть является продуктом следующей после монотеизма ступени сознания. При этом трансрелигиозность (парадоксальная религиозность) не упраздняет, а дополняет монотеизм. Не стирая религиозные различия, парадоксальная религиозность просто выходит за их границы.

На парадоксально-историческом уровне своего бытия человек стремится организовать его как парадоксально-историческое гражданство. Что не мешает ему сохранять исторические гражданство, религию и национальность. Одно не исключает, а дополняет другое.

Историческое государство выросло из семьи и опирается на семью. Трансисторическое государство опирается на историческую государственность. Не стирая исторических границ, оно распространяется за них.

Исторические государства образовались из потребности в упорядочении отношений в расширенно-семейной общине и в защите ее от других общин.

Историческое гражданство – это подданство. Трансисторическое гражданство не есть подданство, но – принадлежность... государства его гражданам.

Трансисторическое государство не есть власть. У него нет внешних признаков (знаков власти). Оно существует лишь постольку, поскольку есть люди, которые хотят его осуществлять. И именно потому, что трансисторическое гражданство не детерминировано исторически сложившимися национальностями и религиями, то есть вполне свободно, оно нуждается в уравновешении и свободы долгом. Потому что свобода нуждается в долге, как мышечная сила в силе земного притяжения. Вне поля тяготения у силы нет приложения. Так и у свободы без долга.

Закон, обеспечивающий существование парадоксального государства – это Закон равновесия свободы и ответственности. У гражданина парадоксального государства нет свободы, не обеспеченной ответственностью, ни ответственности, не обеспеченной свободой. И чем более он свободен, тем более ответственен, и наоборот.

Отсюда вытекает не всеобщность прав и, вместе с тем, свободный доступ к ним. Ибо могут все, но не все могут. Но кто не может, тот и не должен.

Не будучи ни в какой форме принудительным, парадоксальное гражданство нуждается лишь в одном гражданском органе: в органе соблюдения равновесия между свободой и ответственностью граждан. Эта функция возлагается на лиц, облеченных доверием большинства. Но эти лица не предлагают себя на общественную должность. Во-первых, из-за высокого чувства достоинства, а во-вторых, из-за не менее высокого чувства ответственности. Они свободны принять или не принять предлагаемую им должность. А общество свободно освободить от должности.

Парадоксальное гражданство и его орган существуют наряду с историческим гражданством и его органами, но не зависят от них. Оно открыто для всех желающих. Но по Закону равновесия человек может быть лишен парадоксального гражданства за недостойное и безответственное поведение. При этом сохраняется его историческое гражданство и подданство. Историческое гражданство не упраздняется парадоксально-историческим. Отчасти это подобно отношению между национальной и религиозной принадлежностями (монотеизм транснационален). Разница в том, что на трансисторическом уровне бытия „переворачивается“ само отношение принадлежности, и если монотеист принадлежит религиозной общности, то трансисторическая государственность принадлежит трансисторическому гражданству. Парадоксальный гражданин – „больше“ своего государства, потому что история человечества – это его история. Трансисторическое сознание „переворачивает“ сознание историческое. Если исторический человек сознает себя в истории, то трансисторический человек сознает историю в себе.

Переход на новый уровень исторического бытия совершается явственно, мощно и... незаметно. То есть незаметно для сознания, выработавшего в течение исторического времени устойчивое представление о бытии... на его историческом уровне. Трансисторический переход в эти представления не укладывается – оказывается непредставимым (в готовых рамках). Отсюда потеря соответствия между видением и видимым, между намерением и действием. Социально-освободительные и национально-освободительные движения – поработают, всеобщее просвещение оборачивается падением качества и авторитета образования и исчезновением

свободомыслия, стремление вооружить человечество достижениями науки ведет к беспомощности человека „под колпаком“ у технологии, и из потребности обеспечить человеку его естественные права вырастает чудовищный бюрократический аппарат. У человечества словно появилась новая, невиданная сила, но оно еще не научилось пользоваться ею по назначению.

Сионизм – тоже феномен трансисторического сознания. И инерция непротиворечивого подхода к парадоксальной реальности запутала сионистов, как и всех остальных.

Выйдя за границы иудаизма, то есть совершив трансрелигиозный акт, сионисты приняли возникшую парадоксальную религиозность за возрожденную еврейскую национальность. Сионистское сознание раздвоилось, оказалось постиудаистическим и праиудаистическим одновременно. И сионистское государство, образованное вопреки иудаизму, оказалось в плену у идеологии иудаизма, ибо она исторически выше национализма (иудаизм транснационален). Но и иудаизм оказался пленником сионизма, который, другой своей стороной, исторически выше иудаизма (трансрелигиозен). В результате взаимной нейтрализации оба деградировали к национализму (национально-религиозный блок). Отсюда религиозно-сионистская интерпретация иудаизма: Тора – народ – земля. Вместо народа Торы – Тора народа и вместо земли народа – народ земли. Земля (национальная территория) оказалась в основании триединства, а Тора съежилась до акта на землевладение.

Однако эта интерпретация оказалась в противоречии с реальностью: нерелигиозное еврейство, неортодоксальное еврейство, вообще еврейская диаспора, а также нееврейское население Земли обетованной из нее как-то выпали. И, чтобы свести концы с концами, пришлось возродить мессианскую идею. Мол, в предмессианские времена и должен быть беспорядок: рассеяние евреев, их неортодоксальность и даже нерелигиозность, и конечно же неутомимый Амалек. Но к приходу (с приходом) Мессии все станет таким, как н а д о: все евреи (по матери) соберутся в Земле обетованной (которая, тем временем, распространится к Нилу и Эфрату (за которыми для внуков Авраама начинался беспредел), превратившись по пути в н а с т о я щ и х евреев, то есть – в ортодоксов. Наличное же сионистское государство – всего лишь мессианский полуфабрикат, который и необходимо довести до

мессианской готовности посредством войн (для расширения территории) и харедизации (хазара бе-тшува). Диаспоре отводится вспомогательная роль, исполнив которую, она должна исчезнуть (частью репатриировавшись, частью погибнув в ассимиляции и погромах). А арабы должны вернуться, откуда пришли – в Аравийскую пустыню.

В этом сценарии есть железная последовательность – отсюда его убедительность. Но реальности в нем не больше, чем в „гегемонии пролетариата“, например (не к ночи будь помянута). Трагедия по подобному сценарию уже была раз поставлена на исторической сцене и называлась она „Восстание Бар-Кохбы“. И еврейство было бы тогда уничтожено окончательно, если бы последовательный подход к истории народа не был преодолен парадоксальным сознанием... иудаизма, то есть транснациональным и транстерриториальным сознанием. Сегодня трудно в это поверить, но когда-то иудаизм был парадоксален. Остатки такого рода мышления встречались еще сравнительно недавно и назывались „еврейским умом или еврейской мудростью“. И именно способность мыслить парадоксами позволила евреям принять столь деятельное участие в научно-технической революции. А транснациональность, свойственная иудаизму, позволила евреям внести значительный вклад в национальные культуры стран рассеяния.

Так и в наше „мессианские“ (упаси Бог!) дни лишь осознание парадоксальности истории и переход к трансисторическому мышлению могут преодолеть национально-религиозный тупик сионизма. Но также и общеисторический тупик, в котором оказалось историческое человечество при переходе на новый, трансисторический, уровень бытия.

И не случайно после критического пика самой ужасной из исторических войн р е ш е н и е м О О Н было признано право евреев на государство в Палестине. И не случайны те неясные, но интенсивные надежды многих народов, обращенные к новорожденному государству Израиль (которые мы называем несправедливо завышенными мерками и которые, увы, все еще не можем оправдать).

Трансисторическая реальность требует нового способа мышления и создает этот способ. Стереотип национальной и даже религиозной замкнутости, созданный предшествующим опытом, превратился в шоры и годится только на то, чтобы биться головой об

стену, когда в двух шагах – настезь открытый вход. То же самое – стереотип универсализма, который тоже, по-своему, последователен, а значит – туп и неповоротлив.

Парадоксальная реальность – это же еврейская реальность. Транснационализм образовался из упрямого еврейского монотеизма. Транстерриториальность впервые осуществилась как еврейская диаспора, упрямо не желавшая раствориться в нациях и их религиях. И даже когда евреи наконец решили сделать что-то „как у всех“, из этого вышло сионистское государство, довольно-таки гадкий и упрямый, надо сказать, утенок, которому однако „на роду написано“ стать парадоксальным, транс-историческим государством, объединяющим трансрелигиозную, транстерриториальную, транснациональную диаспору народов земли...

Вышла в свет новая книга
НИНЫ ВОРОНЕЛЬ

„МАЙН ЛИБЕР КАЦ“

(276 стр.)

«...Контрапункт иронии и лирики у Н. Воронель – не случайность, он кроется в природе ее поэтики...»

•
„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440

•
Цена – 36 изр. шек.
(25 DM для Европы, \$14 для США,
включая пересылку)

САМОПОЗНАНИЕ

Эдуард Бормашенко

Великолепная статья Дениса Соболева в 106 номере „22“ вызывает сложные чувства. С одной стороны отраднo, что своего еврейского не отдадим, с другой – очень все-таки хотелось, чтобы нам указали слабое звено, за которое, как учил Ленин, удалось бы вытащить всю цепь: т.е. указать, какая же культура определенно еврейская, и в каком месте можно ставить недрогнувшей рукой шестиконечный знак качества.

Весь еврейский народ много тысяч лет, как один человек, ждет ответа на каверзный вопрос, кто же такой еврей? С одной стороны Авраам авину определенно был первым евреем, а с другой стороны не утихают споры о том, насколько праотец был осведомлен в Торе и соблюдал ли он все 613 заповедей? Авторитеты расходятся во мнениях. Нет и нет определенного ответа. Особенно болезненно внимание к проблеме у алии русской, совсем утратившей связь с традицией и смутно помнящей какие же такие знаки и символы, помимо носа и общеинтеллигентного вида, должны выделять еврея. При этом именно русские евреи, как и положено, считают себя настоящими, всамделишными евреями, а, например, обитателей Меа Шеарим историческим курьезом.

Автор ясно отдает себе отчет в грандиозности задачи и все-таки предлагает еще один вариант окончательного решения еврейского вопроса, итак:

ПАРАДОКС – ОСНОВА ЕВРЕЙСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

„Изучать философию нужно, когда философия вам не нужна, когда вы догадываетесь, что стулья в вашей гостиной и Млечный путь связаны между собой и более тесным образом, чем причины и следствия...“

И. Бродский

На протяжении лишь только полустраницы введения, для выражения мысли мне дважды пришлось прибегнуть к конструкции „с одной стороны“ – „с другой стороны“. Изучавшему Гемару известно, что в основе талмудического мышления лежит выдвижение парадоксальных (*но не упускающих общей нити рассуждения!*) возражений. Склонность евреев к изощренно-парадоксальным умозаключениям давно воспринимается неотъемлемой частью национального характера и служит излюбленной темой еврейских анекдотов. Изгиб пластичного еврейского ума, приправленный парадоксальным же еврейским юмором, и – готов сгибающийся пополам от смеха анекдот.

Куда я клоню, наверное, уже понятно, но совсем непонятно, что же собственно такое – парадокс? Один из героев братьев Стругацких коллекционировал определения счастья. Решив разобраться со словом „парадокс“, и я вышел на охоту за его вразумительным философским определением, изучая все, что могло иметь к этому отношение, от „Британики“ до Советского энциклопедического словаря. Я не слишком преуспел в своем начинании, и то, что мне показалось проясняющим суть дела, как и следовало ожидать, не сыскалось в философской литературе. Энциклопедии и словари трактуют парадокс как высказывание, приводящее при логически правильных посылах к противоречивым (опять же с логической точки зрения) выводам. Мне кажется, что это определение выявляет лишь одну, и наименее интересную сторону самого явления парадоксальности. Я предлагаю относиться к парадоксальности именно как к *явлению природы*, одному из свойств наблюдаемого нами Космоса. А. Воронель в одной из своих статей как-то обронил: „парадоксальная природа реальности“. То есть парадоксальность лежит в самом устройении мира и может быть выявлена и объективирована.

Почерпнуть вдохновение мне удалось в „Лекциях по теории относительности“ Леонида Исааковича Мандельштама. Рассуждая о принципе относительности, Мандельштам говорит, что парадоксальность Эйнштейновского постулата заключается „не в его положительных высказываниях, а в том обстоятельстве, что нам не были ясны самые, как казалось, простые и элементарные понятия“, и далее Мандельштам добавляет: „какое-нибудь уточнение этих понятий неизбежно“.

Как я выяснил позже, уже Аристотелю было ясно, что причиной

возникновения паралогизмов является нечеткость исходных определений.

Примерно о том же говорил и Воронель, написав, что парадокс – это утверждение с нарочито нечеткой областью применимости. То есть физики, по-видимому, полагают, что вовсе не всякое противоречивое с логической точки зрения утверждение – парадокс, но истинный парадокс всегда отражает нечеткость самих исходных представлений о мире, с которыми мы оперируем. Сама эта *размытость и есть один из принципов устройства мироздания*. Здесь можно увязнуть в тягучем споре об основном вопросе философии: характерны ли парадоксы для структуры Космоса, или таков наш человеческий способ постижения мира? Непроницаемые переборки, возведенные греческими философами между миром идей и миром вещей, всегда казались мне до некоторой степени искусственными и надуманными. Каббала приучает полагать понятие „оболочки“, отделяющей духовные и материальные миры, продуктивным, и, на первый взгляд, здесь Иерусалим находится в согласии с Афинами. Но каббалистическая скорлупа проницаема! И самое интересное разыгрывается в „переходных процессах“, разворачивающихся в зазорах между мирами. Я попытаюсь показать, что в определенном смысле парадокс и есть порождение этих переходных процессов.

Любое познание, претендующее на универсальность, будь то научное, религиозное или художественное, развивается в направлении предельного обезличивания своих содержательных утверждений. Особенно наглядно это проявляется в научном познании, быть может, наиболее преуспевшем в безличном кодировании ученых достижений. Мировые религии, в конечном счете, тоже испытывают неутолимую тягу к абстрагированному кодифицированию своих посланий человечеству. В наименьшей степени это заметно в искусствах. Однако и здесь тенденция неоспорима: эпос, превращаясь сначала в рукопись, а потом в напечатанную книгу, живая музыка, оказавшись на лазерном диске на нотном листе, все более отдаляются от своего творца, эволюционируя к упорядоченному набору знаков и сигналов. (В определенном смысле буйство псевдонаук, мистики и постмодерна, наблюдаемое в последнее время, – понятная реакция человеческого духа, требующего личного знания, личного бога и личного переживания произведения искусства.)

Мощь абстрагирующих процедур поразительна. Гигантское здание наук и философии – удивительное порождение человеческого духа. Велик соблазн считать их существование объективным, само-достаточным, на худой конец согласившись с существованием абстрактного бога-первопричины, перводвигателя, первосубстанции и т.п., бога ученых, книжников, ответственного за генерирование вороха философских и научных представлений.

Между тем, само генерирование исходных абстракций знаков и символов а затем и их дешифровка заведомо субъективны, а потому их нечеткость, размытость *неустранимы*. Бертран Рассел полагал, что два математика под словами „да“ и „или“ уж наверняка понимают одно и то же. Я думаю, что здесь он как раз ошибался. Все абстракции, которые мы подымаем в мир идей, извлечены нами из нашего личного опыта, и нет двух людей, которые бы понимали их совершенно одинаково. Обратное тоже верно: „спускающиеся“ к нам из духовных миров идеи подлежат личному декодированию с неизбежною неопределенностью. Тонкое расщепление и уточнение понятий и областей их применимости неустранимо, если принять во внимание субъективный характер их образования. Истинный парадокс состоит в том, что, несмотря на эту неустранимую нечеткость, мы можем все-таки познавать мир. Возможность же эта обусловлена *единством изначального замысла о мире*, все более проступающая и все более наглядная по мере его познания. Великого физика современности Ричарда Фейнмана спросили: если бы у Вас была возможность послать всего одну фразу иной цивилизации, что бы Вы ей сообщили. Фейнман ответил: молекулярную гипотезу строения вещества. Ответ Фейнмана характерен для эпохи активно наступающего языкачества. Никак не оспаривая важность этой теории, я все же уверен в том, что первая фраза „Шма“ куда более концентрированно передает мудрость человечества, и нет ничего не только более важного для человеческого духа, но и конструктивного для мышления, чем знание о единстве Космоса.

Любопытно, что творчество самого Фейнмана представляет собою поразительный пример постоянного держания в поле внимания целостности мироздания. Декларировать: „мир един“, „все связано со всем“ – недорого стоит. А вот выбрать точку зрения, с которой просматривается связность и осмысленность Космоса, удается немногим; быть может, в прежние времена такое усилие

было по плечу только каббалистам. В XX веке еврей-интеллектуал Фейнман справлялся с этой задачей, как немногие из смертных. Эстетическое, педагогическое, за версту узнаваемое личное фейнмановское и собственно научное начала так сливаются в его знаменитых „Лекциях“, что появление шедевра становится неизбежным.

А поскольку нет отдельных богов для искусств, наук и еще одного божка для жизни, то человек, мыслящий в еврейской традиции, не испытывает трагического конфликта неизбежного, скажем, для культуры христианской. Паскаль никак не мог примирить Бога научного и Бога бытийного. Его прямые и косвенные последователи требовали вернуться к Б-гу Авраама, Ицхака и Иакова, отвернувшись от Бога книжников. Еврейский подход отрицает саму возможность подобной постановки вопроса, ибо расщепление Б-га не предполагается. А значит, надо увидеть мир так, чтобы единство замысла Всевышнего было выявлено. Здесь-то и прячется истинная парадоксальность еврейского мышления: зазор между индивидуальным Б-гом, данным мне в моем личном опыте, и Б-гом книжников логически неизбежен, но в еврействе этого зазора нет. Осознание этого единства создает духовное поле огромной напряженности, но природа ее совершенно отлична от напряженности конфликта, приведшего Паскаля к трагедии. Воронель написал, что зазор между Б-гом, выводящим путника из чащи, и Б-гом, приводящим в движение планеты, может быть, не так и велик, не зная, что раньше ту же мысль высказал Ибн Гвироль в знаменитом пиюте „Адон олам“ (ссылаюсь на А. Зиниграда): „мой личный Б-г и Б-г, творящий мироздание, – один и тот же Б-г Израиля, Б-г живой“.

Любопытно, что традиционной еврейской профессией всегда была медицина, дисциплина более других требующая целостного взгляда на мир и еще более требующая минимального зазора между личным Б-гом и Б-гом книжников.

Я вовсе не намерен упражняться в генерировании антиномий, но: самый ортодоксальный монотеизм всегда суперсовременен. Великолепное разнообразие познаваемого мира провоцирует человеческое мышление на создание божков. В то время как еврейская традиция требует преодоления соблазна путем парадоксального духовного усилия, с одной стороны впитывающего тончайшие оттенки бытия, а с другой стороны непрерывно удер-

живающего целостное восприятие Космоса. Адин Штейнзальц в очерке о Гиллеле сказал, что для мудреца, во многом оформившего наш интеллектуальный стиль мышления, с одной стороны характерна „безоглядная преданность заповедям“, а с другой „широта взгляда, обнимающего целый мир – мир, в котором происходящее измеряется результатами, а изменчивость – неотъемлемое свойство самой реальности“. Нестабильность и размытость заложены в устройении мира, но сами по себе они не порождают истинных антиномий, явление парадокса возникает лишь при их наложении на единство замысла о мире.

* * *

Занявшись вплотную понятием парадоксальности, мы с неизбежностью осуществим его уточнение и расщепление: существуют математическая, или логическая (реализующаяся в виде противоречий в одном слое сущностей) и истинная, или физическая (проявляющаяся в переходных процессах между слоями) парадоксальности, и вот именно эту последнюю я и полагаю одним из фундаментов еврейского мышления и еврейскости вообще (хотя забавным представляется то, что для обозначения парадокса в иврите не нашлось не заимствованного слова). Переходный процесс, происходящий между слоями, сопровождается высвечиванием парадокса.

Быть может, первыми ощутили самостоятельное значение антиномий греческие софисты. Большинство генерированных ими парадоксов возникают в зазоре между вещами и словами. Подъем, абстрагирование вещей в языковой слой порождает бездну истинных (в нашей терминологии), в данном случае философских антиномий. Я наберусь окаянства сказать, что Б. Рассел и тут ошибся, полагая, что выработав правильный синтаксис, мы навеки избавимся от языковых парадоксов. Хорошая грамматика позволит исключить парадоксы, лежащие внутри языкового слоя, не менее, но и не более того. Переход от мира вещей к миру слов и обратно – вечный источник вдохновения для любителей истинных парадоксов. Витгенштейн и Мишель Фуко привели здесь аргументы, от которых невозможно отмахнуться.

Парадоксы Зенона, на самом деле, тоже разыгрываются в зазоре между реальными и уже абстрагированными пространством и

временем. Судьба физики XX века показывает, что этот зазор и процессы в нем происходящие продолжают оставаться мощнейшими генераторами парадоксов.

Парадоксы теории множеств воспринимаются нами в качестве таковых именно потому, что решительно противоречат нашему повседневному опыту. Всякий „знает“, что квадрат площади содержит больше точек, чем линейный отрезок, однако канторовская теория логически неопровержимо убеждает нас в обратном. Это классический пример „обратного“ высвечивания парадокса, при переходе абстракции, в данном случае понятия множества, в мир вещей.

Еще один парадоксопорождающий промежуток находится между чувственно воспринимаемой причинностью событий, и нашими попытками абстрагировать ее в виде рока, судьбы, законов механики: классической или квантовой. Непохоже, чтобы и этот ключ иссяк.

* * *

Профессор Лейбович написал: творчество Эйнштейна не представляет собою вклада еврейского народа в мировую науку. Напротив, гений Эйнштейна – дар мировой науки еврейству. Мне же никак не кажется случайным, что Эйнштейн, Кафка, Бор, Кантор, Витгенштейн (*и сам профессор Лейбович!*), внесшие столь существенный вклад в парадоксализацию мышления XX века, были евреями.

Разумеется, продуцирование парадоксов вовсе не исключительно еврейское дело. Я вообще считаю разговоры об „исключительной еврейской голове“ чистой воды расизмом. Голова, как голова, не хуже и не лучше, чем у других народов. Мой небольшой опыт преподавания физики в Израиле и низкие места, занимаемые нашими школьниками на международных олимпиадах – тому подтверждение. А вот специфический парадоксальный взгляд на мир, оформленный еврейской ортодоксией, система ценностей, при которой каждое мудрое слово – на вес золота, внимание и заботы, с готовностью (и в ущерб всему остальному!) предоставляемые смысленной головушке – наши еврейские. Способность к парадоксальному мышлению, по-видимому, утрачивается первой ассимилянтами всех мастей по-мере их разрыва с ортодоксией. Сила

традиции, однако, столь велика, что процесс отсоединения от нее длителен и растягивается на поколения. Ясно, что сегодняшние израильские школьники уже прошли весь скорбный путь американизации. Оступление молодежи вызывает ужас, но я не очень беспокоюсь за судьбу израильского светского образования: само существование пейсатого Израиля создает духовное поле такой напряженности, что оно втянет в себя и самую светскую школу. Отрицающим ортодоксию невольно придется доказывать: „мы не тупее лапсердачников“ и учиться, учиться и учиться.

Вышеупомянутых титанов, ассимилянтов в первом-втором поколениях (за исключением Лейбовича), парадокс не раздражал, они не стремились вынести его за скобки размышления, напротив, антиномичность была органичною частью процесса познания. Здесь я вижу прямое продолжение нашей традиции.

Традиционный Иудаизм никогда не стремился исключить парадокс, но, напротив, переваривал его. Обратимся к исходной точке – Синайскому Откровению. После дарования Торы, как бы, для евреев должно было стать все ясно: исполняй то, что написано в Книге и все тут. Но потребность *прояснения и уточнения* земных способов реализации закона создала то, что мы сегодня называем талмудическим, еврейским стилем мышления. Караимы ушли из еврейства, положив уточнение исполнения предписаний Торы ненужным и бессмысленным.

И сам метод изучения текста Торы, предложенный мудрецами, по сути парадоксален. С одной стороны присутствует жесткая логика. Правила рабби Ишмаэля, принятые при толковании Торы, представляют собою несомненно формальную логическую систему (отличную от Аристотелевой). Но в Гемаре присутствует и Агада. Текст Агады содержит вопиющие логические противоречия и вместе с тем – он неотъемлемая часть метода. Очевидно, что разрешить проблему корректным логическим образом не представляется возможным, но еврейская традиция справляется с ситуацией присущим ей парадоксальным способом, вводя правило: об Агаде не спрашивают. Из Агады же не выводят и галахических решений. И все же Агада остается столь же неотъемлемой частью традиции, как изощренные и предельно строгие конструкции мудрецов. Как сие возможно? Возможно, если воспринимать парадоксальность как неотъемлемую часть способа постижения Б-жественной мудрости.

Переход от мира Закона, мира духовных сущностей к земному бытию, не может не быть парадоксальным. Агада проясняет такие аспекты откровения, которые не могут быть выявлены построением логических цепей.

Взгляд на логику изнутри самой логики невозможен. Дабы логика сама по себе не превратилась в кумир, хорошо бы иметь возможность бросить на нее косою взгляд извне. Агада и предоставляет нам такую возможность, избавляя ум от иссушающего логицизма.

В общем, все это не слишком удивительные вещи, но именно для нашей традиции характерно мирное сосуществование столь несхожих ветвей мышления. Выросшему в европейской культуре трудно примириться с тем, что в рамках одной традиции уживаются прозрачный рационализм Рамбама, безудержный мистицизм каббалистов, тончайший филологический анализ Раши и хасидские рассказы. Но и вовсе поразительно то, что вся эта пестрота при еще более внимательном взглядывании оказывается не механической смесью. Реактор традиции выплавляет парадоксальную структуру мышления, отражающую парадоксальное же устройство мира.

Переформулируем наши утверждения более привычным для светского читателя образом: существование истинных антиномий обеспечивается двумя обстоятельствами: 1. единством замысла о мире и 2. непреодолимой размытостью интеллектуального аппарата, при помощи которого мы его постигаем. Переход от мира вещей к миру идей, от объектов к абстракциям позволяет мыслить, но этот переход никогда не может быть абсолютно точным, адекватным, и за эту неточность приходится платить. Мы платим неустранимостью из нашего мышления парадоксов. Примирившись с заведомой нечеткостью наших исходных представлений, подлежащих всякий раз корректировкам, согласившись с неизбежностью антиномий, мы обречены на *интеллектуальную терпимость*, в огромной мере проявленную составителями еврейского канонического корпуса текстов. Эта терпимость не опрокидывается в *равнодушие*, чего-чего а страстей души евреям не занимать.

И подпитывает кипение страстей первая выделенная нами составляющая истинного парадокса: постоянное ощущение единства мира, осознанное еще в древнейшие времена. Уже у пророков мы встречаем невероятную мысль: в тексте „Шма“ утверждение

о том, что Всевышний – один, *не имеет числового содержания*. Число, быть может, предельная абстракция, которую мы в состоянии помыслить. Творец не сводим даже и к этой пограничной для человеческого интеллекта конструкции.

Традиция при этом не оставляет нас в растерянности. Само существование Истины и возможность ее постижения не оспариваются. Из постоянного ощущения присутствия Истины в мире прорастает бешеный еврейский темперамент. Шутка ли, Истина на кону, и тут уж не до терпимости. И выплавляется парадоксальный сплав широчайших границ дискуссии и фанатического блеска в глазах в сознании собственной правоты.

Поди-ка ответ на вопрос: верит ли религиозный еврей в судьбу? Галахический ответ изумит кого угодно, только не самого еврея: *все предопределено, но ты свободен*. Закон не ставится под сомнение, но границы его применимости придется устанавливать самому, и не на кого положиться. Посредник, который „знает, как надо“, евреям не положен. Иудаизм – религия свободных людей. Только с началом либеральной эры до человечества начало потихоньку доходить, что свобода-то штука эффективная: в торговле, ремесле, военном деле, куда ни глянь, свободный человек дает сто очков форы рабу. Но нигде это превосходство не выявилось так наглядно, как в науке. Железная дисциплина мышления с одной стороны и глубокая внутренняя свобода с другой сделали успех евреев в науке неизбежным. Привычка ориентироваться в ускользающих границах метода и уточнять основные и незыблемые понятия, *иными словами привычка к парадоксу*, оказалась исключительно к месту в лаборатории (как, впрочем, раньше оказывалась к месту в лавке, оружейной мастерской или меняльной конторе).

Не обошлось и без накладок. Ассимилированные евреи включились в XIX веке в общеевропейскую интеллектуальную гонку с солидным багажом за плечами (об этих-то евреях, собственно, и пишет Денис Соболев). И их чувство единства и гармонии мироздания оказалось вполне созвучно музыке эпохи, верившей в прогресс, культуру и смягчение нравов. Но вот осознанием ограниченности и нечеткости нашего интеллектуального аппарата и размытости границ его применения ассимилянтам пришлось жертвовать. Талмудический пилпул в просвещенном веке им виделся архаикой.

Тогда очень многим показалось возможным допустить существование единственной ниточки, за которую может быть вымотана вся истина о мире. Мышление явно вырывается за рамки еврейского, когда один из ранее упомянутых компонентов парадоксальности перевешивает. Маркс и Фрейд отчетливо удерживали в своих интеллектуальных конструкциях изначальное единство мироздания, жертвуя осознанием границ применимости метода и неясности исходных представлений, превращая интеллектуальный метод в железный лом. О таких вещах, как „неумолимые законы общественного развития“ или „либидо“, не спрашивают. Эйнштейну все же удалось удержать обе компоненты, и потому в моей классификации Маркс и Фрейд мыслят вне традиции, а скажем, Эйнштейн (периода создания теории относительности) – внутри.

А вот Эйнштейн периода дискуссии с Бором, уже явно был напуган парадоксальной расплывчатостью квантовой механики. Чувствуется, что на Эйнштейна тяжким грузом наваливается предзаданная его еврейским мировоззрением гармония мироздания. Эйнштейновский Б-г отвечает за то, что все в мире предопределено, но уже не свободен „играть в кости“.

Позволю себе предположить, что мудрецы Талмуда с легкостью приняли бы квантовую теорию, ибо она в решающей мере замкнута на эффекты, возникающие именно при абстрагировании. Истинный парадокс отличает уверенность в том, что *истина на самом деле существует*. Существование истины и есть та фигура умолчания, которая отличает физический парадокс от обычной логической несуряицы.

Мудрецы Талмуда, выдвигая бесчисленные доводы и контрдоводы, ни на секунду не упускают из виду, что предмет их разысканий существует, и потому их полемика не сваливается в софистику. Станным образом истинная парадоксальность мышления оказывается связанной с каверзным вопросом о том, зачем, собственно, мы иссушаем в полемике наш мозг?

* * *

Смыслообразующий вопрос „зачем?“ (лама), как показал Адин Штейнзальц, на самом деле предполагает некое знание о будущем и обратный привычному ход времени (то есть направление

из будущего в прошлое). Мы уже говорили о том, что переход от времени чувственного ко времени абстрактному служит неиссякаемым источником парадоксов. Вернемся к статье Дениса Соболева. Автор пишет о том, что обращенность к проблематике времени и центральность смыслов характерны для еврейской традиции. На самом деле пристальное вглядывание в смыслы и течение времени – две неотделимые стороны одной и той же философской рефлексии. Здесь проступает различие стилей мышления: еврейского и современного европейского.

В самом деле, в европейской интеллектуальной традиции лезвие, отсекающее рассуждение в строгих рамках от безответственного трепя, – „бритва Оккама“: „не умножай сущностей без крайней на то необходимости“. Бритва Оккама загадочным образом втаскивает во внутреннюю логику научного знания (в том числе и математического!) время. При наступлении крайней необходимости, я все же ввожу в свои размышления новую сущность, и тогда новая теория оказывается лучше предыдущей. Принятие „бритвы Оккама“ приводит в конце концов к столь любезной европейскому уму идее прогресса.

Но еврейская традиция исходит из предзаданности смыслов и сущностей, впитанных в полном объеме Синайским откровением (письменным и устным). Отсюда принцип: в Торе и Мишне нет ничего избыточного, лишнего. То есть действует „бритва Оккама наоборот“, инвертированным во времени образом. В связи с этим действует и парадоксальный инвертированный принцип дополнительности: каждая последующая концепция оказывается частным случаем предыдущей.

Метод, принятый мудрецами, отражает парадоксальную природу истины. С одной стороны Тора представляет собой фиксацию истины. Точнее она представляет собою проекцию вечных духовных истин на доступную человеческому разумению знаковую систему, а именно святой язык – иврит. С другой стороны практическое применение закона требует постоянного уточнения понятий и областей их применения, равно как и полей применения самих законов, иначе говоря, мы имеем дело с невозможностью окончательной временной фиксации истины в реальном мире. Переход от мира символов и знаков, в котором вечные правила и соотношения существуют комфортно, к миру вещей неизбежно порождает парадоксы.

Вместе с тем иудаизм, привычным парадоксальным образом, вовсе не отрицает представления о развитии, напротив, возможность личного совершенствования во времени никак не оспаривается. Похоже, однако, что личное время и время абстрактное текут в *противоположных направлениях*. Мое собственное время дано мне именно для прогрессирующего познания Торы, во всех ее проявлениях, время, текущее в направлении все большей связности мира. Время же Мира, начавшееся при его сотворении и текущее по направлению к его концу, связано с неизбежной деградацией духовных сущностей и возможностей их понимания.

Гемара просто пропитана парадоксами. С одной стороны уделяется огромное внимание логической безупречности рассуждения, но мы уже говорили о том, что и сама логическая процедура вывода вовсе не есть священная корова. Более того: *логическая процедура вывода умозаключения зависит от массива исходных фактов* и вполне может меняться, принимая в частности вероятностный характер.

Стоит привести частный пример. В Талмуде рассматривается случай: бык забодал беременную корову. Обнаруживаются два трупа: коровы и теленка. Невозможно знать точно родила ли корова до того, как бык ее ранил или после, но ущерб-то должен быть определен, и тогда мудрецы подводят нас к тому, что сами принципы рассмотрения ситуаций, в которых исходные данные известны и в которых факты заведомо неопределимы, должны быть разные (это называется: случаи „точно-точно“ или „может быть – может быть“). При этом они не упускают из поля зрения, что истина, на самом-то деле, существует, демонстрируя истинную парадоксальность своего мышления.

Аналогия с современной физикой напрашивается. Сегодня, после боровской квантовой механики мы привыкли, что сам закон природы может зависеть от возможности наблюдения описываемого объекта, и ничего он, закон, нам не обязан, то есть не должен иметь вид привычного из школьного курса физики правила точного перехода от реальных физических тел к математическим абстракциям. Оказалось, что без уточнения самого понятия „закон природы“ не обойтись.

* * *

Само бытие еврейского народа насквозь парадоксально. С одной стороны еврейский народ определенно свидетельствует перед миром о существовании Творца, но с другой все та же неустранимая ограниченность человеческого мышления всякий раз бросает жестоковыйный наш народ в объятия золотого тельца и в конечном счете прогоняет через жуткие испытания, заставляющие усомниться в существовании высшего закона. Религиозная заповедь „не сотвори себе кумира“ сама по себе глобальный парадокс: ибо как ни крути, а мыслим-то мы образами и знаками, вот и попробуй после этого не сотвори – что-нибудь да влезет в святая святых.

Эта глобальная парадоксальность расщепляется и имеет тонкую структуру, пронизывающую все, что связано с нашим народом. Ортодоксальный иудаизм пронес через кошмарный сон галута наше еврейство, а еврейское государство довелось основать агрессивным атеистам. Иудаизм, породивший две крупнейшие мировые религии и опосредованно повлиявший на все черточки, ухмылки и гримасы интеллектуальной физиономии современного мира, оказался в итоге самой неизвестной и недоступной непосвященным религией. Даже такой пронизательный и тонкий мыслитель, как Бертран Рассел, умудрился написать, что после древнейших времен евреи перестали оказывать влияние на человечество именно как евреи. Это Рассел-то, проведший огромную жизнь в математике и философии, переполненных в XX веке евреями, так и не понявший, что именно туда выплеснулся при первой возможности потенциал безвестных домов учения и ешив.

О евреях издревле сложилось представление как о народоинтеллектуале. Знакомящийся с иудаизмом с нулевой отметки напряженно ждет встречи со стройной высокоумной философией, созданной народом, всю жизнь просидевшим над книгой. И, о ужас! Не находит ее (кстати, именно это обстоятельство более всего мешает российским евреям-интеллектуалам приобщиться к традиции). А находит *всего лишь* образ жизни и самовоспроизводящиеся системы ценностей и мышления. Интеллектуализм при этом возникает не как цель, а как результат.

Бытие евреев (как ему и положено вследствие его парадоксальности), по-моему, служит постоянному уточнению представлений о том, что же есть собственно человеческого в человеке. Народ, потративший бездну сил на выявление собственной самоидентификации,

фикации, в конце XX века так и не может договориться о том, кто же такие евреи. Едва ли стоит множить примеры. Я пришел к тому, с чего начал, и композиция требует прекратить умножать примеры, без крайней на то необходимости.

Вернемся к статье Дениса Соболева: по любому из пунктов, по мнению Дениса характерных для еврейской культуры, можно было бы выдвинуть железно обоснованный контрдовод. Скажем, Денис пишет о лингвистическом скептицизме, характерном для еврейского писателя, но такой крупный специалист по еврейским делам, как Гершом Шолем, утверждал, что еврейскую мистику отличает именно глубокое доверие к языку (правда, не просто к языку, а именно к лашон койдеш!) и его возможностям. Денис пишет об антисимволизме еврейской культуры, но Штейнзальц говорит о том, что мир есть не что иное, как совокупность символов и знаков. Невозможно же в самом деле предположить, что светская еврейская культура не имеет никакой связи с традицией.

Просто внутренняя антиномичность еврейского бытия вновь обслуживает ускользание от рамок и определений. Сама структура явления парадоксальности обеспечит то, что сами понятие культуры и еврейства будут в конце концов уточнены, и мы сможем по новому поставить вопрос: был ли евреем Авраам авину?

«ВИКТОР»

Цветной альбом, 48 стр.

В этой элегантно оформленной книге-альбоме вы найдете размышления Богуславского-публициста, цветные фотографии лучших картин Богуславского-художника и портреты домов, построенных Богуславским-архитектором.

30 шек. (за границей – \$12)

Чеки посылать на имя „22“,
P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОГАДКИ

Роза Ляст

ГДЕ РАСПИНАЛИ ИИСУСА?

Человечество отмеривает последние шаги второго тысячелетия. Христианский мир верует, что 2 тысячи (точнее 1999) лет назад миру явился Мессия. Согласно общераспространенной версии, он был распят в Иерусалиме в 33 году по требованию евреев, чуть ли не вопреки желанию Понтия Пилата – правителя Иудеи. „Не виновен я в крови праведника сего, – восклицает он в Евангелии от Матфея, – смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал: Кровь его на нас и на детях наших“ (Матф. 28: 24-25). Под проклятием этого „признания“ мы, евреи, прошагали уже почти два тысячелетия.

Мне думается, что сегодня, когда весь мир готовится шагнуть в XXI век, когда миллионы людей намерены заполнить нашу страну, чтобы своими глазами увидеть святые места, где якобы произошло это событие, стоит полюбопытствовать, что на самом деле происходило в начале первого века н.э. в римской провинции Иудее. И где происходила та заключительная сцена, которая обернулась для нас таким страшным проклятием?

Почему место действия так существенно? Потому, что в христианской доктрине, как и в любой догме, все имеет свою идейную нагрузку: и действующие лица (Понтий Пилат – римский наместник), и место действия – Иерусалим.

Итак, 33 год н.э., Иудея – римская провинция¹. Правитель Иудеи – префект² (не прокуратор) Понтий Пилат (правил Иудеей с 26 по 36 год н.э.). Его официальная резиденция (как и всех прочих правителей) – Кейсария³.

Главная цель всякого колониального чиновника в империи – выслужиться перед императором. Умный правитель выслуживал-

ся тем, что обеспечивал мир и экономическую стабильность подвластной территории – главный залог знаменитого *paх Romana*. Неумный старался, по возможности, грабить провинцию. Полный дурак мог и не понимать, в чем его функция. Понтий Пилат, похоже, относился к этой последней категории. Оказавшись в Иудее, за все время своего правления (а это ведь целых 10 лет) он не смог уразуметь того, что Юлий Цезарь, например, понял, сидя в Риме⁴. А именно, что религию евреев лучше не трогать, Храм и Иерусалим – их святыни, куда вход чужим богам и культам категорически запрещен. Все, что достоверно известно истории о деятельности Пилата в Иудее, – это постоянное посягательство на святость Иерусалима и Храма.

Начало правления Пилата ознаменовалось его приказом внести в Иерусалим штандарты с изображениями императора. Дело, в общем, обычное для римской армии, расквартированной в любой провинции. Штандарты были внесены в Иерусалим тайно ночью (Пилат все-таки понимал, чем чревато такое мероприятие). Как только жители Иерусалима обнаружили их: „иудеи пришли в страшное волнение; находившиеся вблизи этого зрелища пришли в ужас, усматривая в нем нарушение закона (так как иудеям запрещена постановка изображений в городе); ожесточение городских жителей привлекло в Иерусалим толпы сельских обывателей. Все двинулись в путь по направлению к Кейсарии, к Пилату, просить его об удалении изображений из Иерусалима и об оставлении в неприкосновенности веры их отцов. Получив отказ, они бросились на землю и оставались в этом положении пять дней и столько же ночей, не трогаясь с места. На шестой день Пилат сел на судейское место в большом цирке и приказал призвать к себе народ для того будто, чтобы объявить свое решение; предварительно же он отдал приказ своим солдатам: по сигналу окружить иудеев с оружием в руках. Увидя себя внезапно замкнутыми тройной линией вооруженных солдат, иудеи остолбенели. Но когда Пилат объявил, что прикажет изрубить всех, если они не примут императорских изображений, и дал знак солдатам обнажить мечи, евреи, как по уговору, пали на землю, воскликнули, что скорее дадут себя убить, чем переступят закон. Пораженный этим религиозным подвигом, Пилат отдал приказ удалить статуи из Иерусалима“ (Флавий,

„Иудейская война“, кн. II, гл. 9). Думается, что религиозный подвиг евреев не столько поразил, сколько напугал ретивого наместника.

Все-таки главная цель Пилата была выслужиться перед императором, а не вызывать народные волнения. Следующим мероприятием был приказ поместить позолоченные щиты с посвящением Тиберию во дворце Ирода в Иерусалиме. Согласно Филону, еврейскому философу, современнику Пилата (20 год до н.э. – 50 н.э.), как только слухи об этой акции распространились среди евреев, к Пилату снарядили четырех принцев, которые убеждали правителя убрать щиты (не провоцируй восстания, не провоцируй войну, не нарушай мира!). Пилат упорствовал, хотя и боялся, что принцы в подробностях расскажут императору Тиберию о его „взятничестве, агрессивности и оскорбительном поведении, его частых казнях заключенных без суда, о его безграничной дикой свирепости“ (Philo, *Legatio ad Caium*, 302). Письмо Тиберию принцы действительно написали. Ответ из Рима гласил: щиты вернуть в Кейсарию.

Возможно в отместку за жалобу евреев или из-за желания показать императору, какой он хороший правитель, Пилат решил облагодетельствовать иерусалимцев следующим своим деянием – построить водопровод. Только, вот, откуда взять деньги на такую дорогую вещь как водопровод в Иерусалиме? Умные правители делали это из налоговых фондов или пожертвований богатых граждан. Пилат решил, что самое простое – взять деньги из фондов Храма. Как правителю Иудеи, ему полагалось бы знать, что евреи могли обойтись без водопровода, а вот без Храма и его неприкосновенности, в том числе и храмовых сокровищ они не представляли своей жизни. Посягательство на храмовые деньги означало для них посягательство на святая святых. Волнение вспыхнуло мгновенно и с такой силой, что правитель поспешил в Иерусалим. А там уже гуляла толпа. Появление Пилата только подлило масло в огонь: едва он появился на площади, его чуть не прикончили. Тогда Пилат устроил евреям настоящую кровавую баню (Флавий, *Иудейские древности*, кн. XVIII, гл. 3, § 2). После чего опять поспешил укрыться в Кейсарии, где он был настоящим хозяином и чувствовал себя в безопасности среди своих чиновников, греческого населения, а главное, среди расквартированных здесь офицеров и солдат.

Все приведенные подвиги Пилата описаны у Иосифа Флавия. И вот, закончив описание бурных „водопроводных“ событий в параграфе 2, Флавий новый, третий, параграф начинает следующими словами: „И вот примерно в это время жил Иисус, человек мудрый, если вообще правомерно его так называть. Он совершал удивительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе много иудеев и людей из других народов. Он был Христос (Мессия). Пилат по настоянию наших влиятельных лиц приговорил его к распятию на кресте“. По поводу приведенного выше рассказа в науке многие десятилетия не угасали жаркие дебаты. В ходе дискуссий сложилось даже несколько школ: одни считали свидетельство Флавия интерполяцией (позднейшей вставкой), другие – подлинным свидетельством, третьи – интерполяцией частичной. Представитель третьей школы, известный французский исследователь Рейнак, с почти математической точностью рассчитал, какие слова могут принадлежать Флавию, а какие были вставлены пристрастными христианскими авторами гораздо позже. И вот в 1971 году была опубликована сенсационная находка: рукопись X века н.э. египетского епископа Агапия, в частности, приводит подборку цитат древних авторов о Христе. Среди них оказался и рассказ Флавия, причем в той самой версии, которую в свое время предложил Рейнак. Сегодня ученые единодушно считают цитату из рукописи Агапия подлинником Флавия, и вот ее содержание: „В это время был мудрый человек Иисус. Весь его образ жизни был безупречен. И он был известен своей добродетелью. Многие люди из евреев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть.“⁵

Приведенный текст существенно отличается от прежней версии. Образ Пилата в этом подлинном тексте изменился. Но в версии Агапия ни слова не говорится о роли влиятельных евреев в распятии Иисуса. Флавий четко сообщает: „Пилат осудил его на распятие и смерть“. Как видим, эпизод с Иисусом для Флавия всего только один из фактов жестокости Пилата. То же самое читаем у римского историка Тацита: „Христа... казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат.“ (Тацит, *Анналы*, XV, 44).

Весь приведенный выше материал, а также факт, что в 36

году Пилат был отозван из Иудеи в связи с бесконечными жалобами евреев (Флавий, Древности, кн. XVIII, 4, 2), свидетельствует о том, что его отношения с ними, и особенно с евреями Иерусалима, мягко говоря, не сложились. К 33 году, после водопроводных событий, ненависть иерусалимцев к правителю была так велика, что появляться в этом городе для него стало небезопасно. Поэтому трудно предположить, что в момент ареста Иисуса в *седер песах* Пилат по собственному желанию явился в город, чтобы предотвратить возможные волнения. Во-первых, *песах*, как хорошо нам известно, праздник семейный. Он не сопровождается народными сборищами и процессиями. Во-вторых, после всего описанного, появление Пилата в праздник могло только возбудить, а не успокоить народ. Поэтому у Пилата не было никакого резона гулять по озлобленному Иерусалиму. В *песах* самым подходящим для него местом была надежная Кейсария. Я думаю, что историческая драма, с которой началось христианство, разыгралась в Кейсарии.

Предположение, что суд и казнь Иисуса состоялись вовсе не в Иерусалиме, а в Кейсарии, можно подкрепить также следующими косвенными соображениями. Во-первых, Флавий (37-95 годы н.э.), упоминая о том, что Пилат осудил Иисуса „на распятие и смерть“, не указывает, что суд происходил в Иерусалиме. Во-вторых, самое раннее Евангелие от Марка в главе 15, где речь идет о суде и распятии, Иерусалим вообще не упоминает. Эта глава начинается так: „Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату“. И далее, в § 16: „Солдаты отвели его во дворец, то есть преторий, и собрали всю когорту“. Заметьте, евангелист не сообщает, где находился Пилат. Вообще § 16 всегда представлял определенную трудность для комментаторов⁶. Прежде всего, возникли разногласия в отношении слова *αὐλή* – двор, дворец. Большинство исследователей настаивают на втором значении. Но самая большая проблема слово *πραιτώριον*. Латинское слово *praetorium* написано греческими буквами, что само по себе необычно. Некоторые комментаторы не исключали здесь даже случайность или недоразумение, связанное с арамейским оригиналом. Главная трудность со словом *πραιτώριον* или *praetorium* состояла в том, что это слово у римлян означало

официальную резиденцию правителя подвластной территории или провинции, которая обязана была находиться в административном центре. Обычно этот центр совпадал со столицей провинции. Как правило, такой резиденцией был дворец. В Египте, например, как и в Иудее, в начале первого века н.э. правитель имел титул *praefectus* (префект). Резиденцией его (*praetorium*) был дворец Птолемеев в Александрии⁷. В Иудее было фактически две столицы: Иерусалим – духовная столица евреев и Кейсария – официальная административная столица. Официальная резиденция правителя была, естественно, в Кейсарии. Там же был и дворец. Много лет археологи искали преторий в Кейсарии. И только в 1990 году раскопки увенчались успехом. В одном из общественных зданий, построенном в характерном стиле дворцов Ирода, были обнаружены надписи с именами правителей провинции. Таким образом было установлено местонахождение претория в Кейсарии⁸. По-видимому, именно об этом претории и идет речь в главе 15 Евангелия от Марка. Никакого дворца римского политика в Иерусалиме не было.

В-третьих, именно в Кейсарии, как в административном центре провинции, в официальной резиденции правителя, и должны были рассматриваться гражданские, уголовные и политические дела. Лея Левин в своей классической книге по Кейсарии подчеркивает: „Из Кейсарии наместники администрировали большую часть дел в стране... Обычно наместники осуществляли в городе юридические функции. Еврейские чиновники из Иерусалима должны были отправляться в Кейсарию, чтобы зарегистрировать любую жалобу против самих чиновников и римских солдат. Неслучайно по каждому конфликту, как это мы видели в случаях со штандартами и щитами, евреи отправлялись в Кейсарию. И если синедрион хотел выдать на расправу очередного своего диссидента, он обязан был отправить Иисуса в преториум в Кейсарию.

Ярким подтверждением тому может служить история, которая произошла с апостолом Павлом на 20 лет позже, примерно в 56 году н.э. Так же как Иисус, Павел был обвинен первосвященниками в Иерусалиме „...в спорных мнениях, касающихся закона их.“ (Деяния Апостолов, 23, 29). Однако находившийся в Иерусалиме командир когорты приказал обвинителям-евреям свидетельствовать перед правителем Феликсом в Кейсарии (там же, 25, 30). По

его приказанию воины взяли Павла под стражу и повели в Кейсарию. Когда Павел был представлен Феликсу, правитель заявил: „Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И повелел ему быть под стражею в Иродовой претории“ (подчеркнуто мною, Р.Л.), (Деяния Апостолов, 23, 35).

Там же в Кейсарии расправлялись и с бунтовщиками. Именно здесь, в Кейсарии, с живого раби Акивы сдирали кожу после поражения восстания Бар-Кохбы. На суд в Кейсарию в 309 году отправляли и первых христиан из Скитополя (Бейт-Шеан) (Евсевий, „Палестинские мученики“, 68, 116).

Таким образом Кейсария город-палач по определению, по официальному своему статусу. Творить суд и расправу над евреями облеченные высшей судебной властью правители обязаны были в своей резиденции, в административной столице. Только в исключительных случаях, а именно в момент открытого восстания, правитель мог явиться в Иерусалим для расправы без суда и следствия, то есть для подавления уже бушевавшего мятежа, но не для суда. Пилату после его „водопроводных“ дел не стоило являться в *седер песах*, чтобы стимулировать новые волнения, а тем более, устраивать суд над „разбойниками“-бунтовщиками, которые были осуждены вместе с Иисусом.

Но как же, спросит читатель, *Via dolorosa*, Голгофа, Гроб Господень в Иерусалиме?

Дело в том, что ни у археологов, ни даже у профессоров богословских факультетов нет, да и быть не может, единого мнения по поводу расположения святых мест⁹. После распятия Иисуса Иерусалим два раза до основания разрушали, после восстания 66-70 года и после восстания Бар-Кохбы (135 г.), а евреям не разрешалось там поселиться. Если даже и остались в живых первые христиане, которые помнили, где все происходило, никаких письменных источников они не оставили.

Как же возникли все эти „святые места“? А очень просто. В начале IV века н.э., то есть примерно через триста лет после событий, в Иерусалим явилась мать римского императора Константина – Елена и по рассказам людей, скорее всего таких же интересантов как современные арабские гиды, своим перстом указала: здесь было то, здесь было это¹⁰. Подлинность этой тра-

диции в период канонизированного христианства никому и в голову не приходило проверять...

В заключение мне бы хотелось сказать следующее.

В 33 году н.э. Иисус был Христом, то есть Мессией, только для своих учеников и небольшой группы евреев, готовых поверить в нового пророка и новые идеи. Для широких масс евреев, доверявших своим первосвященникам, он был пророком ложным, отступником, диссидентом. Но они по закону не могли его убить: „Пилат сказал им: возьмите вы его и по закону вашему судите. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого.“ (Иоанн, 18, 31).

Для Понтия Пилата Иешуа из Назарета должен был быть прежде всего ненавистным еврейским разбойником и бунтарем, предводителем таких же „разбойников“, которые однажды чуть не лишили его жизни в Иерусалиме, наотрез отказывались поклоняться императору Тиберию. Невозможно себе представить, чтобы у Понтия Пилата, этого тупого служаки, к тому же злобного антисемита, как его единогласно характеризуют еврейские и римские писатели, дрогнуло сердце при виде очередного бунтаря-еврея. Только Пилат как префект подвластной территории был верховным судьей в Иудее и только по его решению и прямому приказу, как он это уже делал однажды в Кейсарии, солдаты могли „бить Его по голове и плевать“ (Марк, 15, 19). В этой связи мне бы хотелось обратить внимание еще на одну важную деталь, подсказанную мне профессором Хайфского университета Давидом Голаном. Согласно Евангелию (Марк 15, 18) римские солдаты кричали Иисусу: „Радуйся, царь Иудейский“. Они не могли позаимствовать эту фразу у евреев, которые никогда так Иисуса не называли. Для римских солдат Иешуа был просто главой одной из многочисленных бунтарских банд, которыми тогда кишели Иудея и Галилея¹¹.

Вернемся к Пилату. В Евангелиях от Матфея и Иоанна читаем: „Пилат Иисуса бив, предал на распятие“ (Матфей, 27, 26). „Пилат взял Иисуса и велел Его бить. И воины сплели венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу... и били его по ланитам.“ (Иоанн, 19, 1-2).

Как видим, приведенные цитаты никак не согласуются со зна-

менитым „Не виновен я в крови праведника сего“ и с бессмысленными словами евреев „кровь его на нас и на детях наших“. Известно, что Пилат – самая трудная проблема христианского канона. Почти две тысячи лет христианская историография, а вслед за ней и изящная словесность, вплоть до самой современной¹², пытаются не только отмыть, но еще и мифологизировать образ Пилата и, соответственно, обрызгать кровью Иешуа еврейский народ. Естественно укладывается в эту мистификацию и место „злодеяния“ – Иерусалим – цитадель еврейства. Христианским догматиком привычно считать местом распятия Иисуса именно Иерусалим.

Я очень надеюсь, что мне удалось если не убедить читателя, то хотя бы заставить усомниться в достоверности этой догмы.

И в с этой связи мне еще раз хочется напомнить: для любого жителя подвластной Риму Иудеи, и тем более для евреев, лобным местом по своему административно-юридическому статусу была Кейсария. Именно в Кейсарии римляне расправлялись с еврейскими бунтовщиками, будь то участники реального восстания или первые еврей-христиане. Для римлян все они были едины в своем упорном нежелании почитать императора.

-
1. В 1998 году на лекциях в Хайфском и Тель-Авивском университете известный немецкий историк и эпиграфист Werner Eck высказал предположение, что в начале первого века н.э., точнее в правление Пилата, Иудея еще не получила статуса провинции, а была всего лишь подвластной Риму территорией, управляемой префектом с широкими полномочиями.
 2. Настоящая должность Понтия Пилата, а именно префект (*praefectus*), выяснилась сравнительно недавно, в результате открытия в Кейсарии в 1961 году посвяtitельной надписи, где Понтий Пилат отмечен как префект, то есть правитель всаднического сословия с полномочиями командующего военными силами, верховного судьи и казначея. Прокуратор должность более поздняя и связана главным образом с финансами. Об этой надписи и должности Пилата см. Р. Ляст, „Пилат – префект Иудеи“, Ариэль, № 10, стр. 17.

3. О Кейсарии как административной столице Иудеи и резиденции правителей см. Lee I. Levine, *Caesarea under Roman Rule*, Leiden, 1975, pp. 18-22; Р. Ляст, „Кейсария, детище Ирода“, Ариэль, № 16, 1993, стр. 36.
4. В первом веке до н.э. Цезарь запретил указом все религиозные и нерелигиозные сообщества, сделав исключение только для иудаизма. Евреи были защищены особым легальным статусом, а иудаизм был официально отнесен к „религии дозволенной“ (*religio licita*).
5. S. Pines. *An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its Implications*, London, 1971.
6. *The Gospel according to St. Mark. The Greek text with introduction, notes and indexes*, N-Y, 1966, p. 585.
7. В Египте, например, как и в Иудее, правитель имел титул *praefectus* и резиденцией его (*praetorium*) был дворец Птолomeев в Александрии (*Revue Biblique* LIX, 1952, p. 533).
8. Barbara Burell, Kathryn Gleason and Ehud Netzer, *Uncovering Herod's Seaside*, *Biblical Archeology Review*, v. 19, No. 3, 1993, p. 56.
9. „Локализация резиденции правителя в Иерусалиме вызвала живую дискуссию среди исследователей Нового Завета“, отмечает Лемонон, профессор теологии Католического университета в Лионе, J.P.Lemonon, *Pilate et le Government de la Judée*, Paris, 1981, p. 123. О дискуссии вокруг Голгофы см. E.M. Blaiklock, *The Archeology of the New Testament*, New York, 1984, p. 65-73.
10. Об источниках возникновения святых мест в Иерусалиме см. Jack Finecan, *The archeology of the New Testament*, Princeton, 1969, pp. V-XV.
11. О постоянном сопротивлении евреев римскому владычеству и полицейской роли армии в Иудее см. Benjamin Isaac, *The Limits of Empire. The Roman Army in the East*, Oxford, 1990, pp. 104-118.
12. О литературе, „отбеливающей“ Пилата, см. Р. Ляст, „Пилат – префект Иудеи“, Ариэль, № 10.

ОТКЛИКИ

Марк Холмянский

В ЗАЩИТУ ПИСАТЕЛЯ

(О воспоминаниях Аси Пекуровской
«Довлатов без мифа», – Время и мы, № 139, 1998)

В восьмидесятые годы на русском литературном небосклоне возшла яркая звезда Сергея Довлатова. Он не дожид до пятидесятилетия, сравнительно мало написал, но это не помешало ему прочно занять место в новом ряду русских писателей, как будто это место было сработано специально для него, по мерке его гигантской фигуры.

У С. Довлатова бесчисленное количество почитателей, которым интересно знать о С. Довлатове все. И вот воспоминания Аси Пекуровской – его первой жены и друга молодости.

Людмила Штерн вспоминает: „Весна... залитый солнцем Невский проспект, толпа, сплошной рекой текущая мимо Пассажа, тающие сосульки, с крыш за воротник капаят первые капли, смуглые мальчишки протягивают веточки мимозы. Близится восьмое марта. Внезапно в толпе образуется вакуум, и в нем я вижу огромного роста молодого человека с девушкой. Оба в коричневых пальто нараспашку, оба брюнеты, черноглазы, чернобровы, румяны, ослепительно хороши собой. Они неторопливо шествуют, держа за руки, – непринужденные, раскованные, занятые исключительно друг другом. Они знают, что ими любят. „Они хозяева жизни“, – заключает Л. Штерн. Но, боже мой, как она ошибается, как мало похожа история взаимоотношений этих молодых людей на идиллию. Вот формальная схема их взаимоотношений, как ее описывает сама Ася Пекуровская: „Катя, дочь Сережи с Леной (второй его женой. – прим. мое – М.Х.) родилась до развода со

мной, Маша, наша дочь с Сережей, родилась после моего с Сережей развода, Коля, сын Сережи и Лены, родился после их развода“.

Видимо, только 1960 год, только один этот годочек был для Аси Пекуровской и Сергея Довлатова безоблачным. Уже в 1961 году Асе начинает казаться, что чары Сергея перестают на нее действовать, что шутки его ей перестают нравиться. У нее появляются другие увлечения, тем не менее это еще далеко не конец. Сережа делает Асе предложение, видимо, в том же 1961 году, а через два года они женятся. Сережа знакомится с будущей второй женой, но когда Ася заявляет, что уходит от него, Сергей разыгрывает сцену убийства ее, кстати сказать, мастерски описанную в воспоминаниях. Примерно в 1966 году у Аси и Сергея состоялся развод, а в 1969 году, как утверждает Ася, „Сергей возобновляет попытки ухаживания за ней“. В 1970 году у них рождается дочь Маша. Но ясность еще не приходит – Сергей не хочет признавать Машу. Он говорит Асе: „Если вернешься ко мне, будет отец у ребенка. Если не вернешься, ребенок будет твоим и винить ему в этом будет некого, кроме тебя“.

Детективная история взаимоотношений Аси Пекуровской и Сергея Довлатова не занимает центрального места в воспоминаниях, но тому, кто плохо знаком с этой мучительной историей, многое в воспоминаниях будет непонятным.

В том, что Ася и Сергей не обрели семейного счастья, видимо, была предопределенность. Они познакомились совсем молодыми. Ася полюбила Сергея именно таким, каким он был в те годы – артистичным, всегда готовым на шутку. А когда начался творческий взлет Сергея, когда, как шелуха, слезло с него фанфаронство, когда рождался его гений, это был уже совсем другой человек! Ему стала необходимой вера в себя, нужна была моральная поддержка. Очень может быть, что он не поучил всего этого от Аси, которая еще была занята переживаниями по поводу того, что уходит „молодой блестящий Довлатов“. А то, что рождался „новый Довлатов“, которому предназначено стать замечательным русским писателем, она, видимо, не поняла.

Разыгрывалась эта драма на сцене литературного Ленинграда шестидесятых годов. Литературная нива, как известно, капризна. Где-то она вовсе не дает всходов, где-то поражает изобилием. Пустыни и оазисы – так всегда. Ленинград в те годы был несомненно оазисом. Еще творила Анна Ахматова, начинала свой

творческий путь плеяда „ахматовских мальчиков“ : Д. Бобышев, И. Бродский, А. Найман и Е. Рейн, писали А. Битов, В. Попов... Желание стать писателем появилось у С. Довлатова, когда по образу его действий и по тяге к лицедейству об этом трудно было догадаться. Но желание это становилось страстью, заставляло С. Довлатова тянуться ко всему талантливому в литературе. Тянулся он и к покровительствуемым А. Ахматовой поэтам. Может быть, именно у них он заимствовал принципиальность и моральную стойкость, благодаря их влиянию стал великолепным мастером художественной композиции.

После смерти С. Довлатова И. Бродский напишет о нем: „Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы; на каденции авторской речи. Это скорее пение, чем повествование“.

Ася Пекуровская прибегает к очень эффективному приему раскрытия характера С. Довлатова через его взаимоотношения с друзьями. Сразу оговорюсь – то, что ей действительно удалось, относится только ко времени раннего Довлатова. Для четкости применения приема Ася Пекуровская даже выделила семь кругов Сережиных знакомых, подчеркивая, что круги должны быть непременно концентрическими. Один Бог знает, что именно она имела в виду. Вообще же классификация ей явно не удалась, и все-таки несколько бесценных черт характера С. Довлатова читателю передается. Вот несколько примеров: в круг первый был включен только Леня Мак. Леня „...нуждался в ночлеге, получил его у Сережи в доме и стал членом семьи“. О гостеприимстве семьи Довлатовых свидетельствует и запись Аси Пекуровской о друзьях второго круга: „Как истинный кавказец, Сережа любил кормить гостей с избытком и, по обычаю российского хлебосольтва, умел делиться последним куском“. О друзьях этого круга узнаем, что „...Сережа выделялся, ...как человек с безупречным литературным вкусом“. Здесь же любопытная хроника: „Сергей спас на улице девушку от насилия, избив при этом двух хулиганов“; „...разбушевавшись, Сережа подверг Асю „турецким пыткам“, предварительно связав ее“.

Из воспоминаний о третьем круге знакомых узнаем о способностях Сергея в области поэтической импровизации.

Ася Пекуровская рассказывает и много такого, что прямым образом к С. Довлатову не относится, но зато дает многое для

понимания обстановки в писательских кругах Ленинграда шестидесятих годов.

Не повезло в воспоминаниях Сергею Довлатову – зрелому писателю, перешагнувшему юные годы. Тут писательницу Пекуровскую постиг полный провал. Может быть, она плохо знала этот период жизни и творчества С. Довлатова, не исключено, что сказались драматические обстоятельства их взаимоотношений. Так или иначе, а получилась скверная карикатура, которая, возможно, заставила многих оборвать чтение воспоминаний. Создается впечатление, что автор воспоминаний изо всех сил пытается убедить читателя, убедить себя, а возможно, и дочь в посредственности С. Довлатова!? Успех такой попытки позволил бы как-то оправдать трагические события в жизни самой Аси: уход от С. Довлатова и 19-летнее молчание об отце, которым она покарала ни в чем не повинную дочь. Попытка однако была безнадежной и, конечно, провалилась. Впрочем, судите сами – три основных высказывания Пекуровской о писателе С. Довлатове приведены ниже.

„Сереже было где и было у кого учиться блеску и остроумию. Он дышал со своим окружением одним воздухом, жил одной жизнью и переносил его блеск и остроумие в собственные тексты под собственным авторством. В тех концентрических кругах, где кумирами были Рейн, Найман, Бродский, гениальные афоризмы, остроты, а часто и готовые сюжеты, висели в воздухе, и, конечно же, впитывались Довлатовым, чтобы затем, как уже говорилось, быть трансформированными в его собственные тексты. Нет, это не был грубый плагиат, все было куда сложнее и тоньше...“ Как ни повернуть это высказывание, оно останется обвинением в плагиате. Хорошо хоть, что не грубом.

Следующее: „И так одна за другой истории, рассказанные другими людьми, переключивались к Довлатову (а то и на лету подхватывались им) и становились довлатовскими... авторы оставались неизвестными, а Довлатов выходил в пророки, стяжая себе славу на всенародной арене“. Ася Пекуровская, наверно, боялась, что ее не поймут и в этом случае постаралась четче сформулировать свое обвинение.

И вот, слава богу, последний отрывок из того же обвинительного заключения: „Его секира карала... друзей и знакомых и, главным образом, соперников по перу, у которых Довлатов на лету выхватывал остроты. На поле литературной охоты Сережа обладал сно-

ровкой борзой, способной вонзить клыки в живую плоть комического и эксцентрического у окружавших его рассказчиков. Возможно, благодаря этой сноровке он и приобщился к писательскому ремеслу, где „фактическим материалом“ были истории, предварительно отточенные талантливыми рассказчиками“.

Так трижды, со все возрастающим ожесточением, звучат обвинения Пекуровской вдогонку за так обидно рано ушедшим от нас писателем. Было бы предательством по отношению к светлой памяти о нем разбирать всерьез приведенные высказывания, окрашенные цветом клеветы.

Хочется верить, что Ася Пекуровская повинится перед читателями за то, что взялась писать о творчестве Сергея Довлатова, вовсе не зная или не понимая его, вовсе не дорожа памятью о писателе.

Хорошо хоть, что сочинение Аси Пекуровской пришлось на те годы, когда репутация Сергея Довлатова как писателя уже устоялась и, хотя сам он уже не может себя защитить, есть целая армия читателей, готовая за него постоять.

Иосиф Погорельский

«НАС ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН»

В разделе „Иерусалимские размышления“ („22“, № 110), который традиционно является одним из самых интересных в журнале, опубликована статья Вадима Ротенберга „Социологический парадокс“, достойная, на мой взгляд, самого серьезного прочтения. Статья о нас; о парадоксальности нашей культурной самоидентификации. Парадокс, с анализа которого начинается статья Ротенберга, заключается в том, что, согласно социологическим опросам, большинство репатриантов в первые месяцы своего пребывания в стране однозначно настроено на интеграцию в израильском обществе, в то время как большинство репатриантов, проживших в

Израиле три года, ориентировано на русскоязычные средства массовой информации, идентифицирует себя с русской культурой и высказывает неготовность принять культурные ценности израильского общества. Вопрос, который задает Ротенберг, заключается в том, что именно в русской культуре (а не, скажем, в культуре как таковой) заставляет репатриантов себя с ней отождествлять.

Ответ Ротенберга двоякий. Во-первых, это высокий социальный статус культуры в России, традиционное уважение к образованию, интеллекту, культурным ценностям. Во-вторых, это та функция духовного сопротивления власти, которую в СССР исполняла культура. На взгляд Ротенберга, важным аргументом в пользу значения культуры как символа духовного сопротивления власти является тот факт, что в России евреи отождествляли себя с еврейскими деятелями культуры, а не, скажем, с высокопоставленными еврейскими парработниками. Аналогичным образом Ротенберг объясняет и тот почти невероятный факт, что, согласно опросам, почти половина репатриантов высказывает неудовлетворение недостаточно еврейским характером государства Израиль. Впрочем, согласно Ротенбергу, при ближайшем рассмотрении оказывается, что под „еврейскостью“ большинство репатриантов понимает не количество синагог, а верность тем ценностям, которые они считают традиционно еврейскими: честность, порядочность, уважение к интеллекту, творчеству и культуре. И именно предполагаемое отсутствие этих ценностей среди основной массы коренных израильтян заставляет репатриантов усомниться в еврейском характере государства Израиль.

„...нас возвышающий обман“, вспоминая Пушкина, раз уж речь зашла о русской культуре. То, что пишет Ротеберг – это слова, которые часто приходится слышать, но слова, которые, как всякий самообман, приносят вред, в первую очередь, самим самообманывающимся. Израиль, плохой он или хороший, – это дом, который нас принял; и так ли уж надо плевать в его хозяев, только потому, что так легче всего самоутвердиться – хотя, конечно же, есть грехи и хуже неблагодарности. Но вернемся к обсуждаемой статье. Разумеется, нет ничего более приятного, чем, превознося свою честность, добросовестность, интеллигентность, обвинить всех вокруг в отсутствии подобных качеств. Более того, среди коренных израильтян, как и среди любого народа, достаточно негодяев, лжецов и обычных жуликов; наконец хорошо известно, что корруп-

ция и протекционизм, традиционно размывающие моральные нормы, не чужды и израильскому обществу. Но в то же время разве огульное обвинение целого общества в довлеющей бесчестности, недобросовестности и неинтеллигентности не свидетельствует о нехватке научной добросовестности и простой интеллигентности именно у обвиняющего? А если это так, то разве не в более чем двусмысленное положение ставит себя автор статьи?

Впрочем, оставляя все это в стороне, мне бы хотелось высказать несколько сомнений по существу аргументации. Во-первых, ориентация на русскоязычные средства массовой информации не имеет никакого отношения к любви к русской культуре; человек, приехавший в иную страну в возрасте старше 25 лет, в большинстве случаев предпочтет читать на родном языке, если такая возможность существует. Во-вторых, нет никакой уверенности в том, что три года, проведенные в Израиле, достаточны для той минимальной степени знакомства с израильской культурой и ее социальным статусом, которая необходима, чтобы отвергать их более или менее осознанно. В-третьих, в статье Ротенберга нет никаких данных о степени владения ивритом среди тех людей, которые были опрошены, – быть может, их сведения об израильской культуре почерпнуты в основном из русскоязычной прессы и из редких визитов „инсталляторов“ с неизменным пелетоном, связкой ключей и сползающими штанами.

Это, что касается Израиля. Теперь, что касается СССР. О высоком социальном статусе культуры во времена советского режима не стоит рассказывать никому, кроме доверчивых израильтян. Да, штатные деятели советской культуры, пропагандировавшие ее взгляды и ценности, или просто отвлекавшие и развлекавшие народ, были обласканы званиями, премиями, деньгами. Именно эти награды, а не художественная деятельность как таковая, вызывали зависть и уважение. И, наоборот, мне никогда не приходилось слышать, чтобы дворнички и котельные, где создавалась, конечно же не великая, но хотя бы не мертворожденная, культура, имели хоть какой-нибудь социальный статус; и что, благодаря своему интеллекту и стремлению к творчеству, их обитатели вызывали уважение среди широких слоев тех людей, которые считают себя интеллигенцией. Что же касается функции духовного сопротивления, о которой говорит Ротенберг, то несомненно, что часть советской культуры действительно эту функцию исполняла. Но только

речь идет о совсем небольшой ее части. А в основном деятели искусства эту власть обихаживали и обслуживали; надо ли вспоминать целый двор из деятелей культуры, который держал при себе Ежов – любитель изящных искусств с неоконченным начальным образованием. И, кстати, если уж зашла речь о еврейском аспекте этой проблемы, то и Утесов, и Бабель были любимыми угощениями в доме Ежова – в доме одного из самых кровавых негодяев двадцатого века. Так что не случайно уже в наше время в ельцинской России деятелей культуры и искусства неизменно подают к столу на празднествах нуворишей и бандитских презентациях.

Наконец о нас с вами. Ротенберг, по неизвестной мне причине, предполагает, что миллионная масса репатриантов является однородной. А это далеко не так. Утверждение о том, что „в Израиле нет культуры“ действительно можно часто услышать; да вот беда, оно обычно иллюстрируется тем неопровержимым фактом, что „местные ложат ноги на сиденья“. И у меня есть серьезные сомнения в том, что все высказывающие подобные мысли имеют право судить о наличии какой-либо культуры. С другой стороны, среди репатриантов есть очень много людей действительно интеллигентных, стремившихся (и стремящихся) жить по закону совести, а не по закону власти – причастных как к высокой культуре, так и к сопротивлению красному режиму. Но как раз среди этих людей наиболее высока степень принятия Израиля – принятия небеспроблемного, критического, часто трагического – но именно принятия. В любом случае, именно в этой среде сентенции об отсутствии в Израиле культуры можно услышать реже всего.

Что же касается основной массы советского еврейства, и следовательно репатриантов, то это были обычные советские люди; и их сравнительное отчуждение от власти было вынужденным, насильственным, вызванным желанием самой власти и ее почти открытым антисемитизмом. Наконец тот факт, что евреи СССР гордились еврейскими интеллигентами, а не парработниками, объясняется предельно просто; и духовное сопротивление режиму здесь совершенно не при чем – иначе как же евреи оказались столь тесно вовлечены во все самые страшные преступления этого самого режима. На самом же деле, в послевоенные времена по неписанным законам советской власти еврейским деятелям куль-

туры и науки было позволено декларировать свое еврейство, а еврейским аппаратчикам нет; наоборот, от них требовалось от остальных евреев всячески отрещиваться. И поэтому для советского еврея гордиться ими было так же бессмысленно, как гордиться телеграфным столбом, стоящим напротив окон.

Впрочем, до того как Сталин уничтожил почти всех еврейских деятелей режима, и оставшиеся начали свое еврейство скрывать, советские евреи очень успешно гордились не писателями и скрипачами, а Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Урицким, Якиром, Ягодой, Свердловым, Яковлевым и прочими палачами, имя которым, как известно, легион. С другой стороны, имена евреев, действительно противостоявших режиму, были абсолютно неизвестны большинству советских евреев (как и большинству советских людей); а если и были известны, то никаких симпатий не вызывали. О подобных людях можно было чаще всего услышать сакраментальное „вот из-за таких-то и нас не любят“. Однако и это было редкостью. Даже имена Бродского и Галича ничего не говорили абсолютному большинству советского еврейства вплоть до конца восьмидесятых. Но дело не в этом. Прошлое тем и хорошо, что оно уже в прошлом. Дело в том, что, увидев себя в прошлом, человеку становится легче перестать обманывать себя относительно своего настоящего; взгляд назад позволяет увидеть в зеркале прошлого свое подлинное неприукрашенное лицо. И точно так же взгляд на наше коллективное прошлое позволяет увидеть свое лицо на фоне иной страны, которую тем легче будет полюбить, чем меньше нам будет нравиться любить самих себя.

Виктор Голков

„ПО ТУ СТОРОНУ СУДЬБЫ“

(стихи)

Тель-Авив, 1996 г.

Цена – 10 шек.

Заказы принимаются по адресу:

Израиль, Азур, ул. Ицхак Саде, 6, кв. 1

КНИГИ И ЛЮДИ

Марит Гринберг

СОБРАННЫЙ СВЕТ

Рассказывают, как однажды во время экзамена по истории профессор спросил студента, когда по его мнению начался 20-й век. Студент мигом ответил: „В ночь с 31 декабря 1899 года на 1 января 1900 года“. „Вовсе нет, – заметил профессор, – 20-й век начался с выстрела в Сербии, послужившего поводом для начала 1-й мировой войны“. А вот известный исследователь славистики в престижном американском университете любил повторять, что советская эра в русской истории наступила не в 1917-м году, а с восхождением на престол Александра 3-го, превратившего российскую империю в полицейское государство.

Подобных заявлений о том, с какого события следует отсчитывать начало исторических эпох, существует много. Часто кажущиеся заумными и занимательными лишь для специалистов, они, все же, содержат в себе долю истины. Ну вот хотя бы задумаемся: наступила перестройка с Горбачева или с публикации „Детей Арбата“ Рыбакова?

Как бы там ни было, но выход на русском языке „Московского дневника“ Вальтера Беньямина, приуроченный к 850-летию Москвы, позволяет смотреть на историю не в сугубо хронологическом свете.*

Что говорит русскоязычному читателю имя Вальтера Беньямина? Скорее всего, ничего. Вместе с тем, он посетил Москву в 1926-27 гг., вел там дневник, который выходит в свет на русском языке под знаком торжеств по поводу юбилея российской столицы.

* Беньямин Вальтер. „Московский дневник“. Ad Marginem. Москва, 1997.

Скажем пока вкратце: Беньямин, еврей, немецкий литературный критик, покончивший с собой в 1940 году на франко-испанской границе. При жизни (1892-1940) оставался практически безызвестным. После войны, благодаря усилиям еврейских немецких интеллектуалов в Европе и Америке, его имя становится одним из наиболее часто упоминаемых и исследуемых на Западе. О его трудах, рожденных в результате постоянного выбора между сионизмом и марксизмом, идеализмом и историей, пишутся сотни книг.

Беньямин – дитя Западной культуры. Той самой, которая при его жизни деформировалась и перестраивалась: модернизировалась из поэм Гете в гитлеровские марши и из реализма Бальзака – в абсурдные рассказы Кафки.

Может быть, будет преувеличением утверждение того, что перевод Беньямина на русский язык в честь национального русского праздника является значительным событием. Перевод доверительных мыслей еврея, интеллектуала, отверженного Своим временем, какое отношение имеет он к белокаменным стенам Москвы?

Имеет, именно следующее: на вопрос о том, в чем состоит суть акмеизма, Осип Мандельштам ответил, что акмеизм – это тоска по Западу. Да и не только акмеизм. В целом вся русская культура 20-го века с ее акмеизмами, футуризмами и остальными течениями стала возможна лишь благодаря мосту, переброшенному между Востоком и Западом. Перевод Беньямина на русский язык является одним из пролетов этого культурного моста.

Смотреть на произведения Беньямина можно по-разному. По широте и глубине своих идей они уникальны. Но оставим в стороне теоретические споры, взглянем на фигуру Беньямина как человека, приезжающего в Москву с целью окончательно решить вопрос о вступлении в коммунистическую партию (!).

Беньямин – еврей, рожденный в Берлине в ассимилированной буржуазной семье. Семье евреев, говорящих на правильном немецком и слушающих Вагнера. Евреев, все еще обучающих своих детей квадратным буквам еврейского алфавита и посещающих дом молитвы лишь раз в году – в день осеннего искупления. История быстротечна. Всего несколько поколений назад предками этих „немецких граждан“ были лапсердачные иудеи, лишённые права даже ступить ногой в немецкие города.

Беньямин принимает активное участие в студенческом движе-

нии. Тогда зарождаются и его идеи о тех силах, которые руководят историческими процессами. Тогда же он знакомится с Гершомом Шолемом, еврейским историком, посвятившим жизнь изучению еврейского мистицизма. В 20-х годах Шолем покидает Германию и селится в Иерусалиме.

Их дружба – исключительное явление, ибо она не только соединила два величайших ума нынешнего столетия, но и свела вместе два совершенно противоположных направления не только еврейской немецкой, но и современной еврейской истории вообще.

Беньямин никогда не отрекался от своего еврейства. Будучи далек от религии, он, вместе с тем, интересовался еврейской мистикой, литературой и философией. Однако, европеец до мозга костей, он был предан немецкому языку и своей духовной родине – Парижу. Признавая ценность сионистских предприятий, он все же никогда не смог бы перейти в их лагерь.

Для Шолема же еврейско-немецкая культура, еврейско-немецкий диалог являлись мифом, фабрикацией, обреченной на провал. Лишь в возрождении еврейской культуры в Палестине он видел возможность создания позитивной основы для будущего евреев и иудаизма.

Не парадоксально ли то, что эти два мыслителя доверились друг другу и в неразрешимых спорах сумели сохранить между собой нежность и доброту.

Томас Манн как-то, негодуя, заметил, что гениальный Беньямин всю жизнь провел безденежным и безызвестным. Наверное, жизнь Беньямина подтверждает собой романтический образ отрешенного от действительности, обитающего в небесах мудреца. Жаль только, что жизнь не обладает легкостью романтических легенд, а, напротив, беспощадно бьет своею несправедливостью.

Был ли Беньямин марксистским философом? И да, и нет. После падения „нерушимого Союза“, после тех преступлений, которые были совершены во имя рабочего класса, легко недооценить ту роль, которую сыграла марксистская идея в развитии европейских литературных течений 20-го века. Между тем именно эта идея, поставившая любой творческий порыв в подчинение экономическим законам, позволила мыслителям и художникам, или во всяком СЛУЧАЕ им так казалось, перевернуть человеческое сознание и выразить изъяны общества и души. И Брехт, и русские форма-

листы, и Беньямин не создали бы своих теорий и произведений без влияния Маркса.

Непередаваемая оригинальность идей Беньямина состоит в том, что он пытался сопоставить несопоставимое: идеализм и материализм. И в своих литературных исследованиях, например, о немецкой средневековой драме, и в незаконченных историко-литературных трудах о Париже он, интерпретируя историю или литературу в духе социального подхода, утверждал, что все же в творческом процессе и в мире вообще покоится идеалистическое, неподдающееся объяснению мессианское зерно и оно определяет направление истории. Именно в еврейской мессианской идее он видел проявление и ростки этого зерна.

Представим, насколько тяжело было им, творцам и мыслителям, привлеченным идеей разложения буржуазного мира, вложить свои идеи в прокрустово ложе марксистской партии. Они приезжали в первое социалистическое государство и восхваляли его, посещая „справедливые“ судебные процессы, как Фейхтвангер, или как Андре Жид, который затем утверждал, что в Советском Союзе еще меньше свободы, чем в нацистской Германии. Они, по определению одного немецкого прозаика, „были в одно и то же время и преступниками, и жертвами. Как и эпоха, которую они символизировали, они были одинаково отвратны, опасны и жалки“.

В Москве Беньямин ведет дневник. Сталкиваясь с литераторами и немецкими иммигрантами, он наблюдает, как постепенно государство перекрывает все попытки свободного творчества. И наверно от того, что он не мог отказать себе в праве писать свободно, он отказал себе „в удовольствии“ стать партийным мыслителем. Однако поразительно и грустно читать его отзывы о просмотре „Белой гвардии“ Булгакова в театре. Он писал, что правы те советские критики, которые усматривают в этой пьесе происки врагов. Он считал, что таким, как Булгаков, не место в пролетарском искусстве.

Беньямин покидает Москву, отринутый советскими журналами и энциклопедиями, где он пытался поместить свои статьи. Покидает, все же восхищаясь динамичностью роста и перспективами столицы советского государства. Уезжает, чтобы через пару лет навсегда покинуть и город своего рождения, ставший столицей третьего рейха.

Из Парижа Бенъямин, как и остальные немецкие интеллектуалы-иммигранты, объявленные французским правительством враждебным элементом с началом войны, бежит к границе с Испанией с надеждой получить заграничную визу. Выдача виз приостанавливается, и Бенъямин кончает жизнь самоубийством на границе, в Перинеях. Так подходит к концу и романтический образ отверженного мыслителя, романтический в сказках, жестокий и дикий в действительности.

Говорить даже вкратце о Бенъямине и не упомянуть имени Франца Кафки невозможно. И не только потому, что Бенъямин считал его наиболее близким себе по духу творцом. Не только и потому, что его мысли о пражском писателе до сих пор остаются исключительно глубокими и пронизательными. Прежде же всего по той причине, что аполитичный Кафка своими произведениями, своими страшными и странными рассказами и романами, выразил всю безвременную боль еврейского бытия, а из него и бытия человека.

Как многоголосая песнь, плач Кафки поднимается от боли его героев-евреев своего поколения к тысячелетней боли народа-изгнанника, а от нее к человеку и окончательно к самому автору, для которого жизнь – лист бумаги и каждый вздох – написанная буква. В этом-то и таится кафкианский парадокс: объявив существование абсурдом, забрав у человека любую надежду и возможность найти хоть какой-то смысл в жизни, он обрек этот мрак в чистейшую прозу – прозу, которая, истощая безысходность, в то же время спасает.

Вальтер Бенъямин считал, что трагичность и гениальность Кафки заключается в том, что его творчество – это провал. Провал найти свет в конце туннеля бытия? Провал из живого человека стать литературой? Возможно. Однако это еще и провал писателя, который, по определению Бенъямина, создал мистические тексты, чьи герои навсегда потеряли выход к истине, ибо ее – нет.

Опять-таки: мистическая сила без Всевышнего, спасение вопреки тьме, то есть провал, который возрождает.

Критики отмечали, что в кафкианском провале провал самого Бенъямина, не сумевшего окончательно соединить Маркса и Мессию. Но ведь если взглянуть повнимательней, то вся наша цивилизация – цивилизация газовых печей и Мандельштама, умирающего от голода посреди ГУЛАГа, цивилизация провала. Но не забудем,

что и провала Кафки. Его слово, бездонные глаза Бенямина и возрождение Сиона Гершома Шолема – горящие отблески этой цивилизации беспроектного мрака, ее рассеянный свет, который нам, подобно каббалистам, следует собирать.

Поэтому появление „русского“ Бенямина не просто свело еще раз цветаевскую родину и Европу, но и прибавило частицу Света к нашему миру, прибавило навсегда.

Виктор Голков

СВИДАНИЕ С НАРЦИССОМ

(по следам книги А. Гольдштейна
«Расставание с Нарциссом»)

Время наступившей неопределенности порождает своих пророков и апостолов. Пророчество А. Гольдштейна: о приходе тотального „постмодерна“ и последующем наступлении великого Ничто. Речь идет, по существу, о Ничто литературном, литературно-художественном. Гольдштейн – человек невиданной эрудиции, скорее всего, знает о чем говорит: в разливе произведений искусства, где он чувствует себя, как рыба в воде, нет брода, нет хотя бы малейшего намека на мель. Немудрено, что читателю легко захлебнуться в изобилии имен и ссылок на имена, которые для Гольдштейна – явь, для всех же прочих – сон, а скорее, надежда на возможность его осуществления. Философские идеи, которые тасует он с небывалой легкостью, ни у одной подолгу не задерживаясь, напоминают парад призраков.

Собственные же идеи Гольдштейна – это смесь, где не поймешь, чего больше: маразма или прозрения. Блестящий стиль служит неизвестно чему; выморочность содержания такова, что текст как бы сам себя опровергает. Взбесившиеся термины, отказываясь подчиняться творцу, формируют новую ткань, смысловое

значение которой второстепенно по сравнению с формальным описанием. Гольдштейн любит уродливое, идя в этом следом за Мамлеевым, которого он поэтизирует. По логике вещей, его также тянет и к Лимонову, чья нравственно-физическая извращенность находится в непосредственной близости от его же „фашистской революционной чистоты“. Вообще „постмодерн“, который проповедует, судя по всему, Гольдштейн, что-то до такой степени малоопределенное, что не приходится удивляться его выныриванию именно в настоящем историческом промежутке. Сейчас, когда фактически отсутствует философское истолкование происшедших с нами перемен, когда неясно, куда вообще может завести безумная техническая экспансия, еще в меньшей степени понятна роль, какую играет (или уже отыграло) в этом мире искусство. Постмодерн наклеивает на неразбериху „знак качества“, придает ей законодательный статус, уводя мысль даже из „зеленой черты“ абсурда, где ей отводилось хоть какое-то жизненное пространство. „...это время исчезновения привычных контекстов, которые растворяясь в провалах материи не успели в процессе аннигиляции обзавестись достойным преемством“.

Отвлекаясь от словесной эквилибристики, местами переходящей в прямое словоблудие, можно увидеть в приведенной цитате нечно реальное: утверждение о явлении Неизвестности, о котором говорилось выше. Именно в силу исчезновения ориентиров становится возможным пропеть Осанну погребению почившей „в бозе“ поэзии. По Гольдштейну, ей не за что больше зацепиться, ибо она... „зависла в невесомости, пустоте, ничто ее больше не держит“. Вообще он полагает, что „...перестав говорить от лица мировых стихий... слово поэзии... отрезало себя от важнейших событий в сфере объективного духа...“

Причина такого краха - это то, что „...в течение нескольких десятилетий рассыпались в прах все великие идола, которым она служила... Язык, Стиль, Идеология, Абсолютная цель... так или иначе связанные с эпохой высокого модернизма...“ Тут любопытно следующее: понимание искусства (в частности, поэзии) как в одно и то же время нуждающегося в поддержке и находящегося в эпицентре событий в сфере духа. Неясно, впрочем, какая поддержка имеется в виду - уж не партийная ли? Но тогда при чем здесь дух, тем более, объективный?

Неопределенность роли, выполняемой сегодня искусством,

определяется чем-то вполне конкретным, а именно: чрезмерной технической материализацией, неконтролируемостью прогресса и общей тотальной механизацией западного жизненного уклада в целом. Толковать же, как это делает Гольдштейн, об атрофии Идеологии и Абсолютной цели, разумеется, можно, но звучит это нелепо по причине хотя бы того, что взамен одной идеологии не замедлит появиться другая или потому, что никакой Абсолютной цели у человечества нет и никогда не было. И уж во всяком случае, ни идеология, ни эта самая цель не имеют ни малейшего отношения к искусству вообще и к поэзии в частности. Разговор же о „высоком модернизме“ ведется, разумеется, неспроста, ибо только в его раскидистой тени или в тени его отпрыска „постмодерна“ позволительно крушить все и вся, что вполне революционно, но едва ли имеет под собой хоть какое-то обеспечение. Вообще „модернизм“ (и, соответственно, „постмодерн“), по Гольдштейну, „неизмеримо расширяет границы дозволенного“. В этом трудно усомниться, наблюдая смакование автором монструозной строки Маяковского „я люблю смотреть как умирают дети“, по мнению Гольдштейна „сдвигающей священный для русской культуры архетип ребенка-страдальца“. Да, эта строка действительно что-то сдвигает, только любопытно было бы понять что и в каком направлении. И кому нужен подобный сдвиг? Похоже, что речь идет о брутальной жажде новизны, невзирая на цену, об эпатаже в крайней кондиции, о революционной ушибленности, всех этих предпосылках будущего „постмодерна“, отрицающего высоты, к которым ему с его безумной претензией и примерно не подступиться. Ироническая ухмылка в сочетании с геростратовой жадью Хаоса – таково тупиковое завершение вечной погони за новизной.

Славно сказано: „...у кого ни разу не возникало желаний... выйти на улицу и наудачу, насколько это возможно, стрелять по толпе...“ Я не я, если тут не замешана паранойя! Итак, вот к чему по извилистой дорожке дремучих до маниакальности силлогизмом пытаются нас подвести – к „садизму... содержательно и терминологически чистому“. Что же, есть перед чем преклонить колени! Нас приглашают насладиться садизмом, словно это – панацея для расширения жизненной площади сознания или, вернее, того, что находится под ним. Перед нами вся блестящая антиэстетика постмодерна: культ уродливого, утонченное удовольствие, почти оргазм, от мысли, что тебе разрешено пострелять по беззащитным

людям. Если это не тупик, то я не знаю, какое еще можно подобрать определение!

Вообще Гольдштейну, как и всему „постмодерну“, действительность не очень-то и нужна, поскольку она „некредитоспособна перед лицом автономного мира семиотических ценностей“. Из всех поэтов один только Маяковский проник „в сердцевину поэзии, которая есть голос того, чему не может быть места“. А сердцевина это, конечно, не что иное, как Революция.

Я не удивляюсь революционным пристрастиям Александра Гольдштейна: вся эстетическая посылка от модернизма к постмодерну с отрицанием внятности, гармонии и разумности в окружающем мире по большому счету не только античеловечна – она нечеловечна, а значит, в полном смысле, революционна. Маленький человек, чувствующий себя если не Б-гом, то, во всяком случае, уже не человеком, новый Ницше... Безусловно оригинально, хотя одновременно как-то полуубого, ибо при всем напластовании культурологических оболочек вся эта умственная чехарда внеположна культуре.

А с таким диагнозом, судя по всему, ничего поделывать нельзя.

Владимир Ханан

НАУМ БАСОВСКИЙ. «СВОБОДНЫЙ СТИХ».

Стихотворения и поэмы 1977-1997.

Иерусалим, 1997

Перед нами книга-итог. В нее включены стихотворения и поэмы, написанные за двадцать лет – немалый срок для литератора, в особенности, для поэта. Срок, вполне достаточный для того, чтобы из впечатлений, рефлексии и разного („Когда б вы знали, из какого...“) сора, претворенных в стихотворный текст, сложилась некая эстетическая (и этическая) цельность, которую мы условно, но с достаточной точностью, называем „миром поэта“. Попробуем внимательно заглянуть в этот мир, не посягая – памятуя про скром-

ное пространство журнальной рецензии – на сияющие высоты литературоведения.

Не знаю, как автору – мне эта книга далась нелегко. Я читал ее долго – прочитывал несколько стихотворений, откладывал, потом снова читал и снова откладывал. Позже я прикинул: на чтение этой книги у меня ушло времени, как на чтение двухтомника прозы. Причиной чему явились как солидный пространственно-временной объем книги, так и огромная лирическая насыщенность этого объема. Об этом я еще скажу ниже. Даже сравнение с двухтомником имело свое основание: ибо чем не двухтомник судьба еврея-репатрианта (тем более, литератора), прожившего свой первый „том“ – там, а второй – здесь. Судьба поэтов-репатриантов уникальна: мы не похожи на русских поэтов-эмигрантов – они и в Берлине, и в Париже хотели оставаться и оставались русскими и только русскими поэтами. Мы же сменили больше, чем местожительство. Русская поэзия уже не может безоговорочно претендовать на нас (правду сказать, не слишком претендовала и раньше). Мы оказались в ситуации странной, двойственной, до конца не понятной нам самим – в ситуации, которая, тем не менее, ищет разрешения. Читая книгу Басовского, я поймал себя на мысли, что здесь эта проблема каким-то – не заметным читателю – образом решена. Ситуация конфликта уничтожается двумя способами. Она или разрешается в ту или иную сторону, или с н и м а е т с я вообще. Конфликт между человеком и человеком снимается любовью. Конфликт между Человеком и Жизнью снимается мудростью. Здесь сказано главное. Если характеризовать книгу поэта Наума Басовского „Свободный стих“ одним словом, то этим одним, самым точным, словом будет – м у д р а я книга. Читатель, читающий-идуший страницами-дорогами этой книги, открывающий для себя мир-жизнь-путь поэта, уже в значительной степени пройденный, вдруг осознает необычайную близость, родственность этой жизни, этого мира – своему. Пусть там другие реалии, обстоятельства места и времени (по рассыпанным в книге биографическим деталям я, например, ясно понимал, как по-разному мы с автором прожили свои жизни в России) – в главном, экзистенциальном смысле, миры поэта и читателя совпадают, они, повторяю, кровнородственны, они дружественны друг другу. Осознав эту удивительную связь, читатель не откладывает книгу: „А-а, я это и сам знаю“, но эмоционально откликается: „Да, так. Да,

верно... Так было и со мной...") У меня было много таких моментов. Один из них: „Я пойму, что счастливыми были (только самые детские годы“). Своими интеллигентными в лучшем смысле этого слова, высокопрофессиональными (качество отнюдь не обязательное в здешней русскоязычной поэзии) стихами, равно лишенными пафоса и надрыва („Чем дольше живу на свете, тем меньше нуждаюсь в пафосе“), нигде не переходя границы хорошего вкуса (что в поэзии является комплиментом сомнительным), автор „Свободного стиха“, рисует нам реальную: сложную, тяжелую, неоднозначную – всякую жизнь, преломленную в поэзию разумом и сердцем поэта. Жизнь, мудро принимаемую им и благодаря ему принимаемую нами. Я написал „принимаемую мудро“, а мог написать – „принимаемую мужественно“, потому что на высоком уровне их значения совпадают. Я сформулировал это для себя уже где-то к середине книги, и для меня подарком стали слова: „и станут фоном для любой строки // пространство, время, мужество и воля“. Почему же не „метафоричность“ или „суггестивность“, а „мудрость“, „мужество“ или „искренность“ – понятия не литературного, но, скорее, житейского ряда так точно и удачно характеризуют творчество Басовского? Ведь как сложно, если не нелепо, говорить об „искренности“ раннего Пастернака или „мужественности“ Хлебникова. А дело здесь в том, что высота, этаж, то поэтическое пространство, где работает (живет) поэт Басовский – это пространство русской классической реалистической поэзии, той ее традиции, которая начата была Пушкиным. Следует сказать, что и на иных этажах и высотах – с иной, усложненной реальностью, поэт чувствует себя так же уверенно. Смотри, например, стихотворение „Ты помнишь, как птицы истошно кричали?“ с удивительной концовкой: „И в нервной толпе, в ожиданье трамвая, // внезапно услышишь невнятную фразу: // – Четвертую жизнь на земле проживаю, // а крика такого не слышал ни разу...“ или чарующе-загадочное стихотворение „Время“, которое хочется процитировать целиком. Нет, свое реалистическое, как бы „приземленное“ стиховое пространство поэтом выбрано сознательно, – как представляется, из чувства своеобразного поэтического демократизма: поэт хочет быть не только понятным читателю, он хочет быть рядом с ним.

Книга Басовского будет по-разному приниматься читателями. Я не думаю, что здесь многое для себя найдет молодежь (хотя

литературной молодежи я бы рекомендовал в нее взглядеться). Эта книга – для зрелых, для тех, кто уже убедился в том, что „жизнь в каком-то главном смысле // акт, героический вполне“ (А. Кушнер). Именно к таким и обращена эта книга – итог пережитых времен и пространств. Но одновременно это и книга – обещание. Жизнь не кончена, – говорит она. Жизнь – и стихи – продолжают. Продолжаются в новом, непривычном и странном, но одновременно знакомом, узнаваемом месте, называемом нами – вовсе не беспочвенно – исторической родиной. И о ней – новой, и о той – старой, нам еще расскажет поэт Наум Басовский. Потому что – смотрите! – он обещал:

„И все-таки буду стократно и тысячекратно,
в полянах забвенья слова расставляя рубежно,
заведомо зная, что прошлое все невозвратно,
заведомо зная, что вечная тьма неизбежна, –
пытаться касанию,
запаху,
звуку
и цвету
найти соответствие, щедрое или скупое,
чтоб кто-то прочел и с о ю обнаружил примету –
поющий чердак или сахарный наст под стопою...“

У книги Басовского „Свободный стих“ есть два недостатка. Первый: ее стихотворное пространство абсолютно ровное по качеству. Качеству очень высокому, тексты, повторяю, высокопрофессиональные. Указание на этот недостаток – не попытка состричь. Книга стихов есть, несомненно, организм, и как всякий живой организм, она не может быть (и не должна быть) совершенством. Дело не только в том, что недостаток (пусть маленький), ущербность (пусть едва заметная) организма – в силу наших (должно быть, не лучших) человеческих качеств облегчает нам его приятие: идеал трудно принимается в родню. Дело еще и в том, что подлинная гармония каким-то странным образом взыскует недостатка: милой неправильности женского лица, как бы случайной асимметричности строения, нарочитой небрежности мазка. Менее удачные, быть может, хуже сделанные – как правило, ранние стихотворения показывают читателю во-первых потенции (уже осуществ-

вленные) автора, а во-вторых, его творческий (в читательском восприятии равный жизненному) путь. Что также сближает автора с читателем. И второй недостаток (связанный с первым): книга поэтически перенасыщена. Поэтическая насыщенность книги – хорошее качество, и оно есть у Басовского. Недостаток его книги в том, что она чересчур густа. Тот, кто чувствует ткань стихового поля, поймет, что я имею в виду.

И последнее, что мне хочется сказать: всем, кто любит поэзию, я настоятельно рекомендую приобрести эту книгу – она поможет вам жить.

Михаил Копелиович

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОЗЕ

(о книге Якова Шехтера
«Шахматные проделки бисквитных зайцев»)

Латинское прилагательное "prosus", от которого произошло слово проза, означает: вольный, свободный, движущийся прямо.

Ю. Трифонов

Эпиграф к этой рецензии принадлежит Юрию Валентиновичу Трифонову, напомнившему в одной из своих редких статей об исконном назначении художественной прозы, о необходимости возвращения ее „к древнему смыслу, к вольности, к "prosus"».

С другой стороны, Дина Рубина, сама известный и активно работающий прозаик, пишет в предисловии к вышедшей в 1998 году книге рассказов и повестей Я. Шехтера: „Это проза нетривиальная, сочетающая в себе парадоксальность мышления со стремлением глубже постичь природу духовности своего народа“. Стандартный набор комплиментов, способный скорее затемнить, чем прояснить специфическую природу шехтеровской прозы,

которая (проза) хороша как раз тем, что далека от „парадоксальности мышления“ и от „стремления глубже постичь“. В своих лучших проявлениях она вольна, свободна и движется прямо.

После Трифонова и Рубиной дадим слово и самому Шехтеру: „Жестяной звук падающих капель слился наконец в благодатный шум ливня, смысл вылущивался из любой мысли или предмета, удостоенных его (героя. – *М.К.*) взгляда. Тайны кончились, мир лежал перед ним розовый и обнаженный, будто младенец перед пеленанием“.

Конечно, так фиксируется мир в сознании тяжелобольного, только что перенесшего инфаркт 65-летнего профессора психологии (в повести, давшей название книге), но те же черты свойственны и авторской манере Шехтера: смысл вылущивается у него из любой мысли или предмета, на который падает его взгляд, а тайны... Нет, с тайнами, как им и положено, дело обстоит сложнее. Вот хоть сама эта повесть с ее замысловатым и забавным названием. В ней есть тайна, и это именно тайна, а не секрет или фокус. Я бы даже само слово написал с заглавной буквы. По жизни (если в данном случае позволительно это выражение) он умирает от инфаркта, и его хоронят, и жена убивается и внушает дочери: „...мы похоронили лучшего человека на свете. Лучшего, понимаешь, самого лучшего!“ На самом деле Лев Каплун (он же Каплан) – далеко не лучший. Как и куда менее ученый его собрат во человечестве (и еврействе), мелкий торговец Шая Райсер из повести „Еврейское счастье, или Судьба конформиста“, Лев Каплун – конформист. Но есть в „Шахматных проделках...“ и другой, мистический план, прописанный автором так же тщательно, с соблюдением всех „условностей“ реалистической прозы, что и житейский. Герой повести умирает – и не умирает. После физической смерти душа Льва (отнюдь не львиная) отделяется от его тела и, в согласии с представлениями иудаизма, начинает испытывать „адские“ муки за содеянное в земной жизни зло, каким бы мелким, по нашим, земным понятиям, оно ни было. Мука состоит в том, что душа видит свои грехи, но неспособна их исправить. „...сейчас он превратился в игрушку, в место пребывания (необыкновенно выразительно это „место пребывания“! – *М.К.*), в беспомощную арену, усыпанную опилками перетертых страстей (тоже очень хорошо. – *М.К.*)“.

Читая эти последние, „посмертные“ страницы повести о злоклю-

чениях Льва Каплуна, „зайца“, как называет его собственная дочь, явственно ощущаешь двойственность авторского взгляда: он, автор, и серьезен, и все-таки немножко блефует. Потому что одно дело „эмуна шлема“ (Шехтер – человек религиозный*) и совсем другое – вольность прозы, „движущейся (снова цитирую Трифонова) прямо и независимо от канонов, шаблонов“.

Вольность – вольностью, а построена повесть (как и открывающая книгу – „Попка-дурак“; о ней речь впереди) крепко и продуманно. Одно другому – не помеха. Соединить упомянутые два плана так, чтобы они взаимно не отторгались, – дело нелегкое. Во всяком случае не легче, чем охота за упрямыми атомами, которой занята дочь Льва Лика, физик по специальности, а может, и чем другая охота – та, которая является специальностью Ликиного мужа, офицера спецгруппы по борьбе с террором. Планы соединяются чисто, без служебных повествовательных связей (так называемых „грязных веревок“).

„Он с благодарностью прижался губами к плечу жены. „Ты у меня одна, заветная... Это всё ты – и дом, и Лика, и внук, и работа, – всё благодаря тебе...“ Так думает лев в своем предсмертье, то есть еще з д е с ь. А спустя страницу он видит сон – поистине л ь в и н ы й, – какими бы бранными словами ни аттестовало его постфактум дневное, бодрствующее сознание профессора. В этом сне он, Лев Каплун, уже т а м, и невидимый голос гремит у него над ухом: – Вор!

Иначе, но тоже двупланово, протекают проделки (может, они потому и „шахматные“, что белые „клетки“ чередуются в них с черными) уже упомянутого Шаи Райсера из повести „Еврейское счастье...“ Это – комедийный вариант конформизма, но и здесь – только уже в самом конце – вмешивается рука Провидения. И если первые четыре главы повести имеют смешные названия (например, „Чуден Бней-Брак при тихой погоде“), то последняя, пятая, озаглавлена патетично: „Его прощальный поклон“. Чей – его? Его? В минуту жизни трудную (и едва ли не последнюю) вообще-то безразличный к религии Шая вспоминает и Всевышнего

* Вспоминается, как взбеленился Грэм Грин, когда кто-то назвал его „католическим писателем“. – Я не католический писатель, – огрызнулся он, – а пишущий католик: Так и Шехтер – не ортодоксальный писатель, а пишущий ортодокс.

(ну, это часто бывает с неверующими конформистами), и некоего „литвака“, по виду шляпы раввина. Шая раздраженно объясняет раввину, что, если вероятность отказа автомобильных тормозов не превышает и трети процента, жизнь водителя окажется на волоске. „А вдруг все это правда? – спросил раввин. – Хотя бы на один, на половину, на треть процента то, о чем говорят наши книги, – правда? Ведь тогда вся ваша земная жизнь и вся будущая потеряны безвозвратно. Почему же вы не думаете об этом, почему не беспокоитесь о грядущем мире, хотя бы так, как заботитесь о тормозах?“

Спустя страницу Шая проваливается в небытие.

Конечно, в небольших новеллах так не развернешься. И все-таки эта „схема“ архитектоники наличествует и в большинстве шехтеровских сочинений малого жанра. В „Признании сумасшедшего“. И в „Осенью в Бней-Браке“. И в „Обманщике“. И даже в написанном „под очерк“ „Последнем испанце“.

Еще о... шляпе. Как по закругленным краям черной шляпы Шая Райсер угадал раввина, так мы угадываем художника по тем перьям, которые торчат из его шляпы. (Помните, в блоковской „Незнакомке“: „И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу, / И очи синие бездонные / Цветут на дальнем берегу“.) Д а л ь н и й берег Шахтера – еврейское учение; и с ним связана, им питается система образов, ассоциаций, уподоблений, – всё, и даже юмор.

Несколько характерных примеров. Еще один „литвак“ – Йозль из рассказа „Признание сумасшедшего“, – объясняя своему собеседнику, „что осталось у нас (современных евреев. – М.К.) от пророчества“, рассуждает совершенно „по Талмуду“. С одной стороны, подлинного „контакта с Всевышним достаиваются лишь самые большие праведники“. С другой стороны, „в подавляющем большинстве случаев люди видят вокруг себя то, что хотят увидеть“. Эрго: праведность – дело хорошее, но всякому – свое; кто праведник, а кто нет – решение по этому вопросу не в компетенции людей...

А в рассказе „Обманщик“ Талмуд появляется „собственной персоной“. Но в каком контексте: „Между брюками и тем, что болезнь оставила от мускулов живота, можно было засунуть том Талмуда...“

Или вот совершенно еврейская по духу метафора („Осенью в

Бней-Браке“): „Каждая снежинка словно завершила предложение в бесконечном послании с неба“.

Конкурент Шаи Райсера, хозяин соседней лавки реб Мойше („черная шляпа, седая борода и жидкие пейсы, аккуратно заправленные за уши“), выслушав беспорядочную и не вполне искреннюю филиппику Шаи насчет непоправимого отсутствия Машиаха, меланхолически замечает в ответ: „Насчет Машиаха вы не беспокойтесь, <...> мы его уже давно ждем. А вот кондиционер не мешало бы купить“.

И последний пример подчеркнуто еврейского образного мышления автора. „В наше канцелярское время хорошая справка – половина пророчества. Пред гражданином, осыпанным трепетом ее прохладных крыл, бюрократические препоны расступаются, словно Красное море перед колоннами беспаспортных беглецов“ („Шахматные проделки...“; рязрядка моя. – *М.К.*).

Герой шехтеровской прозы – преимущественно наш брат, репатриант из России (Украины, Молдавии). Отсюда соответствующие ретроспекции (или хронологические начала, как в повести „Попкадурак“). Отсюда же специфические проблемы этих людей, как-то: трудности абсорбции, семейные разлады, в ряде случаев примитивный советизм и неприятие „религиозного засилья“ на исторической родине, а также проделки (отнюдь не шахматные) бывших советских зайцев и лис (бисквитных или, на худой конец, бумажных). Важно отметить, что лучшие из них (не по их человеческим качествам, а по художественному исполнению) ж и в ы е. В израильской русской прозе это крайне редкое, а потому особенно дорогое свойство.

В жизни, конечно, лучше быть львом, чем зайцем. В прозе же, изображающей если даже и самую взавправдашнюю жизнь, то все-таки другую, живой заяц лучше муляжного (или заводного) льва. Желательно, чтобы люди в прозе не изображали собой проблемы, а вели свою жизнь, даже если с ними происходят жесточайшие, а то и катастрофические метаморфозы. Тот драматический слом, который мы все пережили в процессе нашего переселения из одной вселенной в другую, разумеется, оставил в нас неизгладимый след. Но жизнь, покуда она теплится в человеке („единичном“, как выражаются философы), шире любых проблем, она и мучительнее, и слаще. И, главное, разнообразней. Ошибка

писателей, пишущих в Израиле по-русски о „русских“, состоит не столько в отделении их от „аборигенов“ (это как раз реально и достоверно), сколько в отделении от ж и з н и, да, круто изменившейся, да, подчас невыносимо трудной, но перекрывающей все проблемы и, в отличие от формулируемых проблем, непредсказуемой. И вот тут самое время перейти к разбору повести „Попка-дурак“*, не зря помещенной автором в начале книги и отделенной от двух других повестей пятеркой рассказов.

В ней также использована „бицентрическая“ композиция, как мы выяснили выше, излюбленная Шехтером. Однако, в отличие от других вещей, где два плана существуют параллельно, „Попка-дурак“ напоминает русскую матрешку. Можно дочитать повесть до конца и так и не вскрыть „матрешку“, что и случилось с некоторыми читателями, лично мне в этом признавшись (и поначалу со мной самим; потому и интересовался, как это было у других).

Изложу свое понимание и отношение. Заранее признаю право на существование иных трактовок повести и оценок примененного в ней довольно экзотического повествовательного приема.

Автор-конструктор внедрил в свою повесть загадку. Он закрепил ее на двух „гвоздях“: эпитафии из рассказа Э. По „Бочонок амонтильядо“ и мотиве исчезновения Лукреции, первой жены героя. Эпитафия отсылает к разгадке, внешнее сходство сюжетных ситуаций (точнее, места действия) рассказа По и повести „Попка“ призвано разбудить детективный зуд, дремлющий в каждом человеке, а предыстория с падением Семы при появлении на свет дает мотивировку его психических припадков с покушениями на убийство. Наконец в повести описан сон Семы, в котором Лукреция, бесследно пропавшая накануне торжественного обеда по случаю окончания строительства зловещего погребя, молит его о пощаде. Все это крепко сцеплено предусмотрительным автором.

Но автор-художник в конечном счете посмеялся над своей рациональной схемой. В повесть оказалась заложенной иная тайна (не загадка!), тайна самодвижения нехитрого (если исключить криминал) сюжета и саморазвития нормальных, лишь немного испорченных житейскими трудностями людей. В этом, „втором“, сюжете история любви Соломона (тут уже не скажешь: Семы; за Лукрецией, которая называла мужа полным именем, следует при-

* Первоначально опубликована в журнале „22“, № 106 (1997).

знать наличие зачатков художественного такта) и Лукреции воспринимается как еще одна вариация на вечную тему. (Моя бы воля – я бы так и назвал повесть: „Соломон и Лукреция“, даром что по ходу действия в ней появляются другие женщины.) И должен сказать, что всё это мне кажется очень серьезным. Всё: так понятое содержание вещи и исполнение этого содержания.

Для этого содержания не имеет значения опухоль Семиного мозга (результат родовой травмы). В конце концов, большую часть жизни он живет, как все люди: вкалывает, как все, ловчит, как все. А что иной раз стервенеет от фокусов своих жен, так пусть бросит в него камень тот, кто никогда не знал подобных „братских“ чувств к любимой половине. И в детстве многие мучают животных: тут, пожалуй, тоже нет особой патологии. История же о том, как сошлись двое о д и н а к о в о примитивных, но и одинаково же простых и цельных людей, трогательна и точно впорхнула на страницы повести прямо из жизни. И этот брак, с его приливами и отливами, тоже очарователен своей жизненной достоверностью и спонтанностью всей своей динамики. И страдает Сема из-за исчезновения Лукреции совершенно натурально. Спрашивается, зачем ему разыгрывать комедию, когда все уже отчаялись найти его убиенную жену? И зачем ему перед отъездом в Израиль „размазывать слезы“ и обещать родителям Лукреции возвратиться, как только Лукрецию найдут? И в дальнейшем лучшие страницы повести связаны с памятью Семы о Лукреции – памятью человека, тоскующего по любимой женщине. Ведь только раз она приходит к нему во сне с просьбой о пощаде, вспоминает же он ее еще дважды, и оба раза ему чудится ее г о л о с о к.

„Репатриантская“ тема решается Шехтером, так сказать, ненамужно. В „Сентиментальной повести“ И. Городецкого, в рассказе Д. Рубиной „Итак, продолжаем!“, в пьесе Н. Злотникова „Зонá“ репатрианты выглядят или лихими ребятами, или чучелами с выпученными глазами. Ведут они себя, точно выполняют урок по предмету „Трудная абсорбция“. У Шехтера же и трудности вживания в новую действительность, и новое окружение героя (да еще такое экзотичное, как йеменские евреи), и его собственное существование на фоне пальмовых и апельсиновых рощ абсолютно органично. Тут не урок, тут – жизнь! Жизнь, которая вопреки всему кажется „бесконечной, наполненной счастливыми случайностями и добрыми презнаменованиями“.

Наконец, повесть исполнена отменного юмора, что также удаляет ее и от Эдгара По, и от триллера в современном вкусе. Что особенно ценно, Шехтер демонстрирует владение разными видами юмора, от советско-еврейского хохмачества до фарсового удара в грудь героя „похожей на полированное копыто“ пяткой Вики. Превосходно описаны быт и нравы йеменитов. (Вероятно, сам автор тесно соприкасался с этой группой израильского населения.)

Ну вот. А теперь, по доброй советской традиции, надо сказать и о недостатках рецензируемой книги. Их немного, но они есть. В рассказе „Полдень“ употреблено яркое сравнение: „Хлопки ее (летучей мыши. – М.К.) крыльев напоминали жидкие аплодисменты родственников на провалившейся премьере“. Мне кажется, что как раз подобная яркость неуместна в данном контексте (героиня рассказывает герою эпизод из своего детства, когда взвод британской полиции из Цфата арестовал ее деда, через неделю умершего от побоев). А в рассказе „Последний испанец“ – невятица с одними и теми же личными местоимениями, возникшая из-за двойной ретроспекции (пространственной и временной). И наконец, небольшая неувязка в „Шахматных проделках...“:

„Внутренний двор абортария отделяла от улицы стена из крошащегося кирпича. В народе ее называли стеной плача“.

В каком народе? Ведь действие-то происходило в России.

А книга в целом все-таки превосходна. С чем и поздравляю как автора, так и всю израильскую русскую прозу.

Ян Зарецкий

ОЧЕРКИ ТРАДИЦИОННОЙ И НЕТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИИ

(О книге М. Фрейденберга «Очерки истории балканского еврейства», Тель-Авив, 1998 год)

Признаюсь, с некоторых пор я настороженно отношусь к любым книгам, пытающимся растолковать малокомпетентным обывате-

лям прошлое человечества. И ничего не могу с собой поделаться. Знаменитая фраза одного из исполинов нового времени о том, что историю творят не политики или полководцы, а секретари и писари, все чаще и чаще находит свое подтверждение. И уж кому-кому, как не русскоязычному читателю, следящему за книгами и журналами в течение последних двенадцати лет, не знать об этом занимательном парадоксе. Слава Богу, научены. И как-то напрактиковались отделять зерна от плевел, хотя сделать это порой отнюдь не просто.

Книга Марэна Фрейденберга „Очерки истории балканского еврейства“ несомненно написана высококвалифицированным историком, причем историком, любящим свое дело. Даже человек, одолевший не одну книгу о судьбах евреев Европы, откроет для себя много нового, впечатляющего и интересного в этих небольших, компактных, но плотно насыщенных фактическим материалом очерках.

Можно только представить, какой гигантский объем работы был проделан автором, чтобы суметь доходчиво рассказать читателям о жизни евреев в Греции и в Македонии, на территориях Сербии и Словении, о том, как складывались их судьбы в сложные времена средневековья. И не в скучной, перенасыщенной специальной терминологией монографии, а используя для достижения своей цели совсем иную, очерковую форму, более простую, эффективную и доступную.

Сколько удивительного можно обнаружить, например, в главе „Частная жизнь балканских евреев“: причудливые судьбы замужних женщин, положение врачей-евреев, описание еврейского дома и даже законы, специально выработанные для защиты квартиросъемщиков... Ну как тут не провести незримую нить к мучающим нас сегодня в Израиле актуальным проблемам?! Что бы там ни говорили, подлинная история всегда современна.

Следует заметить: все очерки, собранные в книге, выходили ранее в виде газетных публикаций. Отнюдь не всегда даже самые яркие, актуальные, талантливо написанные статьи, объединенные в книгу, представляют интерес для читателя. Вспомним, к примеру, полюбившиеся читателям материалы Александра Бовина в „Известиях“, опубликованные еще до того, как он стал послом России в Израиле. Но желание собрать эти материалы под одной обложкой не принесло успеха ни автору, ни издателям. Многие проблемы

устарели, неожиданные факты и сравнения утратили новизну, да и само время внесло коррективы. С этой точки зрения Марэну Фрейденбергу можно записать в актив еще один плюс. Его исторические заметки не потеряли своей актуальности.

Ну, а теперь не помешает влить несколько порций дегтя. Ибо все-таки после прочтения книги остается двойственное ощущение. Явно выпадают из общего ряда очерки „по новейшей истории“. („Словения – три года независимости“, „Словения – пять лет независимости“, „Четыре года из жизни Дубровника“, „Две югославские войны“ и „Греция. Балканская страна“). Вызвана ли их публикация желанием продемонстрировать „связь с современностью“? Был такой пункт в инструкциях министерства просвещения в СССР, нещадно требовавший от педагогов чуть ли не на каждом уроке использовать подобный методический прием. Но история всегда современна. И подобный „союз“ двух различных направлений – „еврейское прошлое на Балканах“ и „современные проблемы молодых независимых государств“ – выглядит по меньшей мере искусственным. Их объединяет разве что место действия, общий регион. Но с таким же успехом можно сопоставить ранние походы гуннов с неудачей сборной Германии на последнем чемпионате мира по футболу во Франции!

Возможно, виной служит стремление издателя несколько увеличить объем книги за счет схожих по форме и вроде бы близких по теме очерков. Вряд ли стоило идти на подобный шаг. Жаль, что рядом с автором не оказалось человека, способного указать на этот явный диссонанс, заметно снижающий общее впечатление от книги. Как снижают его и личные политические пристрастия автора. Наверное, трудно историку, тем более еврею, удержаться от субъективных высказываний, но стоило бы подойти к оценке непростой югославской войны более взвешенно или вообще не упоминать о ней в „Очерках истории балканского еврейства“! Симпатии автора явно на стороне Хорватии, Словении, Боснии и иных, близких его сердцу новоявленных образований. Но надо бы учесть и активное вмешательство НАТО, стремившегося любым способом ослабить потенциального стратегического союзника России на Балканах, и исламскую экспансию, заметно укрепившую позиции воинов Аллаха в районе Адриатики, да и влияние недавних для истории событий – припомним хотя бы движение усташей или национальную политику Тито.

О второй части книги, озаглавленной „Я – историк“, и говорить особенно не хочется. За плечами Марэна Фрейденберга долгая, насыщенная интересными событиями жизнь, но излагать ее в форме „расширенной автобиографии“ явно не имело смысла. Если у автора найдутся время и желание, то куда разумнее будет написать книгу мемуаров. В ней намного полнее и красочнее может быть изложена его личная история. Я уверен, что у этой будущей книги найдутся свои внимательные читатели. Как нашлись они и у „Очерков истории балканского еврейства“.

В Иерусалиме вышла в свет новая книга стихов

ГЕННАДИЯ БЕЗЗУБОВА

„СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ“

Цена книги в Израиле – 20 шекелей,
в других странах – 8 долларов США
(не считая пересылки).

*

Желающие приобрести книгу могут
обратиться к автору.

Телефон: 02-6235185

Адрес:

Gennady Bezzubov, Hedekel 2/15, Jerusalem 94324

Главный редактор — Александр ВОРОНЕЛЬ

Редакционная коллегия:

Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ, А. ДОНДЕ,
Н. ДРАЧИНСКАЯ, Э. КУЗНЕЦОВ, Д. СОБОЛЕВ
М. ХЕЙФЕЦ, Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА,
Н. БАСОВСКИЙ, В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО

Заведующая редакцией — Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка — Нива РАДАЙ
Печать — издательство «МЕРКУР»

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции — 03-7394525

Электронный адрес: <http://folding.tierranet.com/22>

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству «Москва — Иерусалим» и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле — 120 шек., для организаций — 130 шек., за рубежом — 80 долларов (авиапочтой в Европу — 90, в США — 95 долларов), для организаций — 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране — 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

